# Мелкие буржуа

# Оноре де Бальзак

Посвящается Констанс-Виктуар[[1]](#footnote-1)

*Вот, сударыня, одно из тех творений, которые неведомым образом зарождаются в уме писателя и покоряют его уже тогда, когда он еще не знает, будет ли принято или отвергнуто его детище публикой, верховным судией нашего времени. Заранее уверенный, что Вы проявите снисходительность к моему неизменному пристрастию, я посвящаю Вам эту книгу: разве не должна она принадлежать Вам по праву, как некогда десятина принадлежала церкви, в ознаменование того, что по воле господа бога все расцветает и зреет — и в полях и в умах человеческих?*

*Комья глины, оставленной Мольером у подножия колоссальной статуи Тартюфа, оказались ныне достоянием руки скорее дерзостной, нежели умелой; но, сознавая, насколько я далек от величайшего из комедиографов, я тем не менее испытываю радость, что употребил крохи, подобранные на авансцене его театра, дабы показать современного лицемера в действии. Приступая к этому нелегкому начинанию, я черпал бодрость в том, что мое будущее произведение не касается вопросов религии: ведь в противном случае оно было бы отвергнуто Вами, чье благочестие общеизвестно; к тому же некий выдающийся писатель говорил о «безразличии в вопросах веры»[[2]](#footnote-2).*

*Да послужит двойное значение Вашего имени пророчеством для судьбы книги! Соблаговолите усмотреть в этом посвящении выражение почтительной признательности со стороны того, кто осмеливается именовать себя самым преданным вашим слугой.*

Онорe дe Бальзак.

Турникет на улице Сен-Жан, описание которого, приведенное в начале повести «Побочная семья» (смотри «Сцены частной жизни»), казалось в свое время скучным, — эта наивная деталь старого Парижа сохранилась ныне лишь на страницах книги. Перестройка городской ратуши привела к сносу целого квартала.

В 1830 году прохожие еще могли видеть изображение турникета на вывеске владельца винного погребка, но затем дом этот также пошел на слом. Воспоминание о нем рождает в памяти цепь воспоминаний такого же рода. Увы! Старый Париж исчезает с ужасающей быстротой. То тут, то там в нашем произведении промелькнет описание какого-нибудь средневекового строения, подобного тому, которое читатель найдет на первых страницах повести «Дом кошки, играющей в мяч». Один или два таких дома можно и поныне встретить в Париже; к их числу нужно отнести и находившийся на улице Фуар дом, где обитал судья Попино — образцовый представитель старой буржуазии. Здесь — развалины дома Фюльбера; там — набережная Сены во времена Карла IX. Разве не должен историк французского общества, этот новый Old mortality[[3]](#footnote-3), спасать от забвения столь любопытные свидетельства прошлого, уподобляясь тем самым описанному Вальтером Скоттом старику, подновлявшему могильные памятники? Поистине нельзя назвать преувеличенными вопли, вот уже десять лет несущиеся со страниц нашей литературы: искусство начинает прикрывать своими цветами отвратительные фасады зданий, именуемых в Париже «доходными домами»; Виктор Гюго насмешливо сравнивает их с комодами.

Заметим кстати, что в Милане создание муниципальной комиссии del ornamento[[4]](#footnote-4), в чьи задачи входит наблюдение за архитектурой уличных фасадов и обязательное рассмотрение плана каждого домовладения, относится к двенадцатому веку. И вот всякий, кто побывал в этом красивом городе, не мог не воздать должное патриотизму миланских буржуа и дворян, любуясь колоритными и своеобразными зданиями, украшающими его... Гнусная, безудержная спекуляция, уменьшающая из года в год высоту этажей, выкраивающая целую квартиру из площади, какую раньше занимала одна гостиная, уничтожающая сады, несомненно, окажет влияние на нравы Парижа. Людям вскоре придется проводить больше времени вне дома, нежели дома. Священная частная жизнь, когда каждый сам себе хозяин, где ты? Она доступна сейчас лишь тем, у кого не меньше пятидесяти тысяч франков годового дохода. Да и не многие миллионеры позволяют себе в наши дни роскошь владеть небольшим особняком, отделенным от улицы двором и защищенным от любопытных взоров прохожих тенистым садом.

Уравнивая состояния, параграф Кодекса[[5]](#footnote-5), толкующий вопросы наследства, создал эти фаланстеры[[6]](#footnote-6) из известняка; в них ютятся по тридцать семейств, но зато они приносят домовладельцу сто тысяч франков годового дохода. Вот почему трудно сказать, сохранятся ли в Париже лет через пятьдесят дома, подобные тому, в котором проживала ко времени, когда начинается наше повествование, семья Тюилье; дом этот и впрямь любопытен, он заслуживает самого точного описания хотя бы для того, чтобы сравнить буржуазию былых времен с буржуазией наших дней.

Местоположение и внешний вид этого дома, служащего рамой для настоящей картины нравов, насквозь пропитаны духом мелкой буржуазии, что может привлечь или отвратить внимание каждого, в зависимости от его вкусов и склонностей.

Следует прежде всего заметить, что дом не принадлежит ни г-ну, ни г-же Тюилье; он принадлежит мадемуазель Тюилье, старшей сестре г-на Тюилье.

Означенный дом, приобретенный в первые месяцы после революции 1830 года мадемуазель Мари-Жанной-Бригиттой Тюилье, старшей в роду, расположен в самой середине улицы Сен-Доминик-д'Анфер, по правой ее стороне; особняк, в котором обитают Тюилье, смотрит своими окнами на юг.

Упорное стремление жителей Парижа расселяться на возвышенных местах правого берега Сены привело к запустению левого берега и уже много лет препятствовало продаже домовладений, расположенных в квартале, именуемом Латинским; и вот тогда-то некоторые причины, о которых мы скажем позднее, описывая характер и привычки г-на Тюилье, побудили его сестру приобрести недвижимое имущество. Она сделалась владелицей дома, уплатив за него весьма скромную сумму в сорок шесть тысяч франков, пристройки пошли за шесть тысяч; таким образом, общий размер купчей составил пятьдесят две тысячи франков. Подробное описание домовладения, сделанное в духе рекламной афиши, а также рассказ о результатах, достигнутых стараниями г-на Тюилье, объяснят читателю, каким образом многие состояния умножились после июля 1830 года, в то время как другие состояния пошли прахом.

Выходящий на улицу фасад дома сложен из оштукатуренного известняка, скребок каменщика провел на нем продольные и поперечные полосы, а время избороздило его волнистыми линиями, так что известняк стал походить на дорогой строительный камень. Такие уродливые фасады столь обычны для Парижа, что городу следовало бы выдавать награды домовладельцам, возводящим дома из настоящего камня и украшающим фасады резьбой. Серое здание в семь окон состояло из трех этажей и заканчивалось мансардами, крытыми черепицей. Большие, массивные ворота всем своим видом и стилем свидетельствовали, что дом построен во времена Империи — с целью найти полезное применение для части двора просторного старинного владения, воздвигнутого в эпоху, когда квартал Анфер был еще в известной чести у парижан.

Во дворе с одной стороны помещалось жилище привратника, с другой — виднелась лестница дома, выходящего на улицу. Два флигеля, вплотную примыкавшие к соседним домам, некогда служили каретными сараями, конюшнями, кухнями и другими подсобными помещениями для особняка, расположенного в глубине; однако после 1830 года они были превращены в склады.

Правый флигель арендовал оптовый торговец бумагой, которого именовали «господин Метивье-племянник», левый флигель — книгопродавец по имени Барбе, конторы этих негоциантов помещались над их складами. Книгопродавец занимал первый этаж, а торговец бумагой — второй этаж дома, выходившего на улицу. Метивье-племянник был скорее комиссионер, нежели торговец, а Барбе — скорее дисконтер[[7]](#footnote-7), нежели книгопродавец; тот и другой нуждались в обширных складских помещениях, чтобы хранить в них либо партии бумаги, закупленные у впавших в нужду фабрикантов, либо многие тысячи отпечатанных книг, принятых в обеспечение ссуды.

Акула книготорговли и щука бумажной торговли жили в полном согласии, их коммерческие дела были свободны от лихорадочной суеты, этого неизменного спутника розничных операций; вот почему телеги и экипажи не часто нарушали дремотный покой двора, и привратнику приходилось время от времени выдергивать траву, пробивавшуюся между камнями. Господа Барбе и Метивье, играющие в нашем повествовании роль статистов, лишь изредка посещали своих домовладельцев; они с безупречной точностью вносили квартирную плату и потому слыли безукоризненными жильцами; в кругу Тюилье их считали людьми весьма почтенными.

Третий этаж дома, выходившего на улицу, состоял из двух квартир: одну занимал г-н Дюток, письмоводитель мирового судьи, чиновник в отставке и завсегдатай гостиной Тюилье, в другой жил герой настоящей Сцены; пока что мы ограничимся только упоминанием о том, что он платил квартирную плату в размере семисот франков, и сообщим, что появился он в доме Тюилье за три года до того, как поднялся занавес описываемой нами домашней драмы.

Письмоводитель, пятидесятилетний холостяк, занимал лучшую и бóльшую из двух квартир третьего этажа; квартирная плата за нее достигала тысячи франков; кроме того, он держал кухарку.

Через два года после того, как мадемуазель Тюилье приобрела дом, который прежний владелец украсил снаружи ставнями, а изнутри заново отремонтировал и уставил зеркалами, но, несмотря на это, не сумел ни продать, ни сдать внаем, она уже умудрилась извлечь из него семь тысяч двести франков дохода; помимо этого, Тюилье, жившие на широкую ногу, как вскоре увидит читатель, наслаждались едва ли не лучшим садом в квартале, деревья которого отбрасывали тень на маленькую пустынную улочку Нэв-Сент-Катерин.

Их особнячок, расположенный между двором и садом, походит одновременно на прихотливое жилище какого-нибудь разбогатевшего буржуа времен Людовика XIV или председателя парламента[[8]](#footnote-8) либо на приют ушедшего в свою науку ученого. Его источенный временем, некогда красивый строительный камень до сих пор хранит своеобразное величие эпохи четырнадцатого Людовика (да простит нам читатель сей варваризм!); фасад выложен каменной кладкой, выступы из красного кирпича напоминают те, что можно видеть на стенах конюшен Версаля, сводчатые окна украшены женскими головками, венчающими арки и подпирающими подоконники. Наконец, дверь, ведущая в сад, верхняя часть которой вся в мелких застекленных переплетах, а нижняя сплошная, выполнена в скромном и благопристойном стиле, нередко отличавшем павильоны привратников в королевских замках.

Особнячок этот с пятью окнами в ряд — трехэтажный. Особенно примечательна в нем кровля с четырьмя скатами, ее венчает флюгер и украшают великолепные дымовые трубы и слуховые окна. Возможно, дом — лишь обломок какого-нибудь огромного особняка, но автор, не поленившийся изучить старые планы Парижа, не обнаружил в них ничего, что подтверждало бы это предположение; надо сказать, и купчая, хранящаяся у мадемуазель Тюилье, свидетельствует, что во времена Людовика XIV жилище это принадлежало знаменитому художнику по эмали Петито, к которому оно перешло от председателя парламента Лекамю. Вполне вероятно, что Лекамю жил здесь в то время, пока он возводил свой знаменитый особняк на улице Ториньи.

Таким образом, здесь обитали и Мантия и Искусство. И надо признать, что внутреннее устройство свидетельствует о необыкновенно удачном сочетании комфорта и красоты! Направо от входа в квадратную залу, служащую передней, виднеется каменная лестница, а под ней — дверь, ведущая в подвал; налево расположены двери в гостиную, два окна которой выходят в сад, и в столовую, смотрящую окнами во двор. Столовая эта примыкает к кухне, а та, в свою очередь, служит продолжением складов Барбе. За лестницей, со стороны сада, находится роскошный удлиненный кабинет с двумя окнами. На втором и третьем этажах помещаются две просторные квартиры, а комнаты слуг приютились под самой крышей — их нетрудно угадать по слуховым окнам. Великолепный очаг украшает четырехугольную прихожую, свет в нее проникает сквозь две стеклянные двери, устроенные одна против другой. Эта комната, выложенная белым и черным мрамором, приковывает внимание каждого своим потолком, пересеченным выступающими балками, некогда покрытыми позолотой; однако позднее, должно быть, в годы Империи, они были выкрашены белилами. Напротив очага возвышается фонтан красного мрамора с мраморным же бассейном. Все три двери — из кабинета, гостиной и столовой — снабжены овальными наличниками, краска на них облупилась и требует срочного обновления. Работа столяра, мастерившего двери, отличается некоторой топорностью, но украшения не лишены мастерства. В гостиной, стены которой обшиты деревянной панелью, все напоминает о великом веке: и камин из лангедокского мрамора, и потолок с лепными украшениями по углам, и форма окон в мелких переплетах. Столовая, куда можно попасть из гостиной через двустворчатую дверь, выложена каменными плитами, по ее стенам идет дубовая некрашеная панель; стены над панелью вместо старинной обивки оклеены ужасающими современными обоями. Потолок здесь из каштана, излюбленного в прошлом строительного материала. Кабинет, перестроенный Тюилье, являет собою полную мешанину стилей. Золото и белила лепного орнамента гостиной настолько истерлись, что глаз замечает на месте золота лишь красные полосы, а пожелтевшие и потрескавшиеся белила шелушатся, как чешуя. Никогда еще латинское изречение «otium cum dignitate»[[9]](#footnote-9) не могло найти себе лучшего комментария в глазах поэта, нежели это благородное жилище. Резные чугунные перила на лестницах достойны высокого судебного чиновника и прославленного художника; но лишь наблюдатель, наделенный поэтическим воображением, сумеет отыскать следы безукоризненного вкуса былых владельцев дома в узорчатых балконах второго этажа и в некоторых других приметах величавой старины. И сами Тюилье и их предшественники немало потрудились над тем, чтобы обезобразить эту жемчужину высокопоставленных буржуа с помощью привычек и устремлений мелких буржуа. Судите сами, как должны выглядеть стулья из темного ореха с сиденьями, набитыми конским волосом, столик красного дерева, покрытый клеенкой, такого же дерева буфеты, лампы с колпаками из гофрированной жести, обои с красным бордюром, отвратительные гравюры, выдержанные в черных тонах, коленкоровые занавески, обшитые красными басонами, в столовой, где пировали друзья Петито!.. Представьте себе, какое впечатление производят висящие в гостиной портреты самого г-на Тюилье, его супруги и его сестры, мадемуазель Тюилье, написанные Пьером Грассу[[10]](#footnote-10) — художником, которого так ценят буржуа; карточные столики, которые служат уже двадцать лет; консоли времен Империи, чайный столик с основанием в виде большой лиры; гнутая мебель красного дерева, обитая бархатом с цветами по шоколадному фону; стоящие на камине часы, изображающие богиню Беллону[[11]](#footnote-11); канделябры с витыми колонками; занавеси из шерстяной камки или из вышитого муслина с подхватами из штампованной меди!.. На паркете разостлан купленный по случаю ковер. В великолепной продолговатой прихожей стоят обитые бархатом скамеечки, а стены со скульптурными украшениями скрыты разнокалиберными шкафами, которые перекочевали сюда из всех квартир, где в разное время проживало семейство Тюилье. Фонтан укрыт дощатым настилом, на нем коптит лампа образца 1815 года. И, наконец, страх — это отвратительное божество — заставил нынешних владельцев дома приладить со стороны сада и со стороны двора двойные, обитые железом двери, которые открываются утром и запираются на ночь.

Нетрудно объяснить эту достойную сожаления профанацию памятника частной жизни семнадцатого века влиянием частной жизни девятнадцатого века. Должно быть, в начале Консульства какой-нибудь разбогатевший каменщик, владелец этого маленького особняка, возымел мысль извлечь пользу из участка земли, выходившего на улицу: он-то, видимо, и разрушил красивые ворота между маленькими флигельками, составлявшими неотъемлемую часть этого милого глазу *обиталища*, если нам будет позволено употребить сие старинное слово; поистине предприимчивость парижского домовладельца накладывает свое клеймо на чело изящных строений с той же неумолимостью, с какой газета и ее типографские машины, фабрика и ее склады, коммерция и ее конторы вытесняют аристократию, старинную буржуазию, людей фиска и мантии отовсюду, где те прежде блистали. Может ли быть более любопытное занятие, нежели изучение документов, относящихся к домовладениям города Парижа! В доме, некогда принадлежавшем шевалье Пьеру Байарду[[12]](#footnote-12) дю Террайлю, на улице Батай, ныне разместилась частная лечебница; на том месте, где в свое время был расположен особняк Неккера, представители третьего сословия выстроили длинную вереницу домов. Вслед за ушедшими королями уходит и старый Париж. И если некая польская княгиня спасает один шедевр архитектуры, то множество маленьких дворцов, подобных жилищу Петито, попадают в руки всякого рода Тюилье! Вот почему мадемуазель Тюилье и сделалась владелицей этого дома.

Когда пало министерство Виллеля[[13]](#footnote-13), г-н Луи-Жером Тюилье, прослуживший к тому времени двадцать шесть лет в финансовом ведомстве, сделался помощником правителя канцелярии; но не успел он вволю насладиться этой не бог весть какой должностью, впрочем, некогда казавшейся ему недосягаемой, как события июля 1930 года вынудили его подать в отставку. Он весьма тонко рассчитал, что вновь пришедшие к власти люди будут рады получить в свои руки еще одну вакансию и в знак признательности проявят великодушие и щедрость при назначении ему пенсии; расчет Тюилье оказался верным: ему была установлена пенсия в тысячу семьсот франков.

Едва только осмотрительный помощник правителя канцелярии заговорил о своем намерении уйти от дел, как его сестра, которая с бóльшим правом могла именоваться подругой жизни Тюилье, чем его жена, исполнилась тревоги за будущее старого служаки.

«Что станется с Тюилье?..» — этот вопрос задавали друг другу в равной мере напуганные мадам и мадемуазель Тюилье, обитавшие в ту пору в небольшой квартирке на четвертом этаже дома на улице Аржантей.

— Хлопоты, связанные с пенсией, займут его на некоторое время, — заявила в конце концов мадемуазель Тюилье, — кроме того, я подумываю о том, как выгоднее поместить свои сбережения. И тут для него будет широкое поле деятельности... Да, да, забот у домовладельца не меньше, чем у чиновника.

— О, милая сестра, вы спасаете ему жизнь! — воскликнула г-жа Тюилье.

— Но я всегда думала об этом неминуемом кризисе в жизни Жерома! — ответила старая дева с покровительственным видом.

Мадемуазель Тюилье слишком часто слышала, как сослуживцы брата говорили ему: «Такой-то умер! Он и двух лет не прожил после выхода в отставку!» Она слишком часто слышала, как Кольвиль, закадычный друг Тюилье, такой же чиновник, как и он, подшучивал над этим климактерическим периодом бюрократов, приговаривая: «И нас с тобой не минует чаша сия!..» Поэтому старуха отчетливо представляла себе размеры опасности, угрожавшей ее брату. Переход от деятельности к полному безделью — и впрямь критический возраст для любого чиновника! Те из них, кто не умеет или не может придумать себе после ухода на пенсию какое-либо дело, неузнаваемо меняются: одни медленно умирают, другие страстно увлекаются рыбной ловлей, ибо это пустое занятие во многом напоминает их прежний труд в канцеляриях; наиболее хитроумные становятся акционерами, теряют все свои сбережения и чувствуют себя счастливыми, если им удается получить какое-нибудь местечко в предприятии, которое после первого краха и первой ликвидации дел попадает в руки более ловких людей, уже давно на него зарившихся; и тогда наш отставной чиновник довольно потирает себе руки, уже не отягощенные деньгами, и говорит: «А все же я угадал, что у этого дела большое будущее...» Но почти все без исключения отставные чиновники тщетно пытаются избавиться от своих прежних привычек.

— Я знаю таких, — говорил Кольвиль, — которых снедает *спленн*, этот бич отставных чиновников.

Кольвиль произносил так слово «сплин»!

— Они, — продолжал он, — страдают от своего постоянно возвращающегося недуга, их мучит не ленточный глист, а картонная папка с ленточками. Коротышка-Пуаре не мог спокойно смотреть на белую картонную папку в синей окантовке: при виде этого любезного его сердцу предмета он менялся в лице, его зеленоватые щеки становились желтыми, как воск.

Мадемуазель Тюилье слыла добрым гением в доме брата; ознакомившись ближе с ее историей, читатель и сам увидит, что старая дева обладала достаточной силой и достаточной решимостью. Она была на голову выше окружающих, и это позволяло ей иметь верное суждение о Жероме, которого она тем не менее обожала. Мало-помалу надежды, возлагаемые ею на своего кумира, рассеялись, как дым; ее чувство к брату было столь сходно с материнским, что она отнюдь не заблуждалась на его счет и отлично сознавала, какая роль уготована в обществе для помощника правителя канцелярии. Тюилье и его сестра были детьми старшего привратника министерства финансов. Близорукость Жерома помогла ему избежать многочисленных рекрутских наборов и призывов в армию. Отец полагал свою славу в том, чтобы сделать из сына чиновника. В начале нашего века армия требовала столько людей, что в канцеляриях оставалось много свободных вакансий, и нехватка младших чиновников позволила толстому папаше Тюилье облегчить своему сыну восхождение по первым ступеням бюрократической лестницы. Привратник умер в 1814 году, когда Жером ожидал места помощника правителя канцелярии. Этой надеждой ограничивалось все состояние молодого чиновника. Толстяк Тюилье и его жена, скончавшаяся в 1810 году, ушли на пенсию в 1806 году; кроме этой пенсии, у них не было средств к существованию: все сбережения они употребили на то, чтобы дать сыну приличное образование и поддерживать на первых порах его и дочь. Широко известно, какое влияние оказала Реставрация на положение канцелярских служащих. После упразднения сорока одного департамента освободилось огромное число достойных чиновников, которые соглашались занять более скромные места, чем те, что они занимали прежде. К сим благоприобретенным правам присоединялись права, так сказать, врожденные — права семейств, разоренных и изгнанных революцией. Страшась мощного напора двух этих потоков, Жером в душе радовался уже тому, что его не отрешили от должности, воспользовавшись первым же предлогом. Так он дрожал до того самого дня, когда по воле случая сделался наконец помощником правителя канцелярии и тем самым приобрел уверенность, что если и будет уволен в отставку, то не иначе, как с внушительной пенсией. Беглый обзор объяснит читателю, сколь скудны были способности и познания г-на Тюилье: он знал латынь, математику, историю и географию в тех пределах, в каких эти предметы преподают в пансионе, но дальше второго класса не пошел, ибо его отец поспешил воспользоваться подходящим случаем и, расхвалив *великолепный почерк* сына, пристроил юношу в министерство. Таким образом, Тюилье-младший начал вносить записи в книгу государственных доходов, вместо того, чтобы изучать основы риторики и философии. Сделавшись винтиком министерской машины, он мало интересовался изящной словесностью и того меньше — изящными искусствами; с годами он понаторел в своем деле, и когда во времена Империи случай помог ему проникнуть в сферу старших служащих, он приобрел там внешний лоск; но ума этот сын привратника так и не набрался. Сознавая собственное невежество, он научился молчать, и это пошло ему на пользу; императорский режим приучил Жерома Тюилье к беспрекословному повиновению, которое так нравится старшим начальникам; именно эта черта и принесла ему впоследствии должность помощника правителя канцелярии. Мало-помалу привычные навыки превратились в опыт, обходительные манеры и умение молчать возместили недостаток образования. Посредственность Тюилье обернулась достоинством в пору, когда возникла потребность в человеке посредственном. В правительственных кругах опасались вызвать недовольство среди обеих партий Палаты, каждая из которых покровительствовала собственному кандидату на освободившуюся вакансию, и в министерстве вышли из затруднения, сославшись на законные права многоопытного чиновника. Вот каким образом Тюилье сделался помощником правителя канцелярии... Мадемуазель Тюилье, зная, что ее брат ненавидит чтение и не способен заменить канцелярскую возню никаким другим занятием, приняла мудрое решение возложить на него заботы по управлению домом, уходу за садом, заставить его окунуться с головой в мелкие житейские интересы буржуазного существования, в котором интриги соседей — уже событие.

Хлопоты, связанные с переездом семьи Тюилье с улицы Аржантей на улицу Сен-Доминик-д'Анфер и с приобретением собственного дома, поиски подходящего привратника и хороших жильцов занимали Тюилье на протяжении 1831 и 1832 года. Когда все это было осуществлено и сестра убедилась, что Жером успешно справляется со своими новыми обязанностями, она подыскала ему другие занятия, о которых речь пойдет впереди; их характер неотделим от характера самого Тюилье, на котором поэтому небесполезно остановиться.

Сын министерского привратника Тюилье был, что называется, красавец-мужчина: выше среднего роста, стройный, он был наделен от природы довольно приятным лицом; но как только он снимал очки, впечатление менялось, и его физиономия, как это бывает со многими близорукими людьми, приобретала отталкивающее выражение, ибо из-за привычки смотреть на мир сквозь стекла его зрачки подернулись какой-то мутной пленкой.

В возрасте от восемнадцати до тридцати лет Тюилье-младший пользовался успехом у женщин определенного круга, начиная с жен мелких буржуа и кончая супругами начальников отделений; как известно, в годы Империи война, можно сказать, обездолила парижское общество, призвав людей энергических на поля сражений; быть может, именно этим, как заметил некий выдающийся медик, и объясняется та дряблость, что присуща поколению наших современников, людей первой половины девятнадцатого века.

Тюилье, вынужденный за отсутствием ума искать иных средств, чтобы привлечь к себе внимание, выучился вальсу и другим танцам, достигнув в этом известной степени совершенства; *красавец-Тюилье*, как его называли в те годы, великолепно играл на бильярде, умел вырезать силуэты из бумаги; его друг Кольвиль обучил Тюилье пению, и тот вполне сносно исполнял модные романсы. Все эти маленькие таланты принесли ему ту видимость успеха, которая обманывает молодежь и внушает ей необоснованные надежды на будущее. С 1806 по 1814 год мадемуазель Тюилье верила в своего брата так, как принцесса Орлеанская верит в Луи-Филиппа[[14]](#footnote-14); она гордилась Жеромом; ей казалось, что он движется прямехонько к посту директора департамента, опираясь на успех, который в то время открыл перед ним двери некоторых салонов, куда бы ему не попасть вовеки, если бы не превратности истории, превратившие парижское общество времен Империи в невероятную мешанину.

Однако победы красавца-Тюилье длились обычно недолго, женщины старались удержать его не больше, чем он сам — сохранить их; его судьба могла бы послужить отличным сюжетом для комедии под названием «Дон-Жуан поневоле». Репутация *красавца-мужчины* утомляла Тюилье, старила его; при взгляде на его лицо, покрытое морщинами, как лицо старой кокетки, ему можно было дать на двенадцать лет больше, чем значилось в его метрике. От былых успехов у Жерома осталась привычка глядеться в зеркало, изящно изгибать стан и принимать позы танцора — он все еще сохранял уже ненужные манеры обольстителя, которые в свое время принесли ему прозвище красавца-Тюилье!

То, что было уместно в 1806 году, в 1826-м выглядело смешным. Жером сохранил отдельные детали костюма щеголя Империи; впрочем, они вполне приличествуют внушительной осанке бывшего помощника правителя канцелярии. Он носит белый шарф в многочисленных складках, закрывающий подбородок; концы этого шарфа так топорщатся, что, кажется, угрожают прохожим и позволяют им любоваться весьма кокетливым узлом, который во время оно завязывали на шее Тюилье ручки прелестниц. Умеренно следуя моде, он приспосабливает ее к своей фигуре, нахлобучивает шляпу на затылок, надевает летом тонкие чулки и башмаки; его удлиненные сюртуки походят на длинные сюртуки времен Империи; он до сих пор не отказался от накрахмаленных жабо и белых жилетов, неизменно вертит в руках тросточку образца 1810 года и никогда не горбится на ходу. Никому из тех, кто встречает Тюилье, когда тот прогуливается по бульварам, не приходит в голову, что перед ним сын человека, готовившего завтраки чиновникам министерства финансов и носившего ливрею государственных служащих времен Людовика XVI: Жером Тюилье походит на императорского дипломата или на старого префекта.

Надо сказать, что мадемуазель Тюилье не только в простоте душевной потворствовала слабостям своего брата, поддерживая в нем всепоглощающее стремление заботиться о собственной персоне, что было для нее естественным продолжением культа, которым она окружала свое божество, но она еще и даровала брату все семейные радости, поселив рядом с ним чету, которая вела такой же образ жизни, какой вели и сами Тюилье.

Речь идет здесь о г-не Кольвиле, ближайшем друге Тюилье; но, прежде чем живописать Пилада[[15]](#footnote-15), тем более необходимо покончить с портретом Ореста и объяснить, почему Тюилье, красавец-Тюилье, не имел семьи, ибо не может быть подлинной семьи без детей. Нам предстоит коснуться тут одной из тех глубоких тайн, которые остаются погребенными в недрах частной жизни и чьи отдельные черточки всплывают на поверхность лишь тогда, когда горестные, тщательно скрываемые стороны семейных отношений становятся особенно болезненными; мы хотим рассказать о жизни мадам и мадемуазель Тюилье, ибо до сих пор мы говорили главным образом лишь о служебной карьере Жерома Тюилье.

Мари-Жанна-Бригитта Тюилье была четырьмя годами старше брата, которому она посвятила всю свою жизнь; родителям легче было добиться положения для сына, нежели скопить приданое дочери. Для некоторых натур невзгоды, подобно маяку, освещают темные и низменные стороны социальной жизни. Бригитта обладала несравненно большей энергией и умом, чем ее брат, она принадлежала к числу тех характеров, которые под молотом нужды закаляются, мужают и становятся стойкими, можно сказать, несгибаемыми. Стремясь к независимому положению, она решила вырваться из привратницкой и стать полной хозяйкой собственной судьбы.

В возрасте четырнадцати лет Бригитта поселилась в небольшой мансарде, в нескольких шагах от казначейства, помещавшегося на улице Вивьен, и неподалеку от улицы Врильер, где находился банк. Она мужественно принялась за малоизвестное, но выгодное ремесло — изготовление мешков для банка, казначейства и других крупных финансовых учреждений; благодаря некоторым покровителям отца дело у нее пошло успешно. Через два года девушка наняла двух работниц. Вкладывая свои сбережения в государственные бумаги, она к 1814 году, то есть через пятнадцать лет, располагала уже тремя тысячами шестьюстами франков годового дохода. Бригитта тратила мало; пока был жив отец, она почти ежедневно обедала у него; кроме того, государственная рента во время последних конвульсий Империи, как известно, обесценилась и упала до сорока с чем-то франков при номинальной цене в сто франков: вот почему на первый взгляд чрезмерная цифра доходов мадемуазель Тюилье на самом деле вполне объяснима.

После смерти бывшего привратника двадцатисемилетняя Бригитта и двадцатитрехлетний Жером решили поселиться вместе. Брат и сестра были необыкновенно привязаны друг к другу. Если Жером, пользовавшийся в ту пору наибольшим успехом, испытывал нужду в деньгах, его сестра, носившая платья из грубой шерстяной материи и постоянно ходившая с исколотыми иглою пальцами, неизменно давала брату несколько луидоров. В глазах Бригитты Жером был самым красивым и очаровательным мужчиной Французской империи. Она мечтала о том, чтобы вести хозяйство брата, быть причастной секретам этого Линдора и Дон-Жуана[[16]](#footnote-16), прислуживать ему с собачьей преданностью; с чувством, напоминавшим влюбленность, она решила принести себя в жертву кумиру, чей эгоизм не только поддерживала, но даже возводила на пьедестал; она продала мастерскую своей старшей помощнице и поселилась на улице Аржантей вместе с Жеромом, сделавшись, таким образом, сразу и матерью, и защитницей, и служанкой этого *баловня женщин*. Тем не менее Бригитта, следуя естественной осторожности старой девы, обязанной всем лишь собственному благоразумию и усердию, утаила от брата истинный размер своего состояния: она, без сомнения, опасалась, как бы он, проведав о ее капитальце, не предался мотовству; вот почему она ограничилась тем, что вносила в дом по шестьсот франков ежегодно, — эти деньги вместе с тысячью восемьюстами франков жалованья Жерома позволяли брату и сестре сводить концы с концами.

С первых же дней этого своеобразного союза Тюилье прислушивался к мнению сестры, как к словам оракула, он во всем советовался с нею, посвящал ее в свои тайны, позволяя старой деве вкушать плоды того стремления к владычеству, которым грешила почтенная особа. Но разве сестра не пожертвовала всем ради брата, разве не была она ему предана всей душой, разве не жила она только им одним? Влияние Бригитты на Жерома удивительным образом возросло благодаря браку, в который он вступил по ее настоянию в 1814 году.

Когда люди, выдвинутые на передний план Реставрацией, начали упорно завоевывать себе позиции в канцеляриях, а представители старого общества стали оттеснять буржуазию, Бригитта из разговоров с братом поняла, что социальный кризис безвозвратно разрушил их общие упования. Отныне красавец-Тюилье уже не мог рассчитывать на успех в салонах знати, которая пришла на смену разночинному обществу Империи.

Тюилье не чувствовал в себе сил окунуться в политику; как и сестра, он понял, что необходимо воспользоваться уходящей молодостью и упрочить свое положение. При таких обстоятельствах ревнивая Бригитта пожелала устроить женитьбу брата столько же в его интересах, сколько и в своих собственных, ибо лишь она одна могла составить его счастье, а будущей г-же Тюилье отводилась второстепенная роль существа, годного лишь на то, чтобы родить ребенка, а еще лучше двух. Если Бригитта и не обладала умом, который был бы под стать ее воле, то, во всяком случае, отчетливо сознавала меру своего честолюбия: ведь старая дева не могла похвастаться образованием, она просто шла вперед напролом, с упорством человека, привыкшего к тому, что ему все удается. Она была превосходной хозяйкой, обладала духом бережливости, умением жить и любовью к труду. Бригитте легко было понять, что ей вовек не найти жену для Жерома среди семейств, стоящих ступенькой выше на общественной лестнице, ибо люди этого круга обязательно заинтересуются домашним укладом жениха и исполнятся тревогой, узнав, что в доме уже есть хозяйка; и она решила искать невесту в социальных слоях рангом пониже, среди людей, которых можно ослепить положением Тюилье; довольно скоро ей представилась подходящая партия для брата.

У некоего Ланпрэна, мелкого служащего банка, проработавшего там много лет, была единственная дочь по имени Селеста. Мадемуазель Селеста Ланпрэн должна была унаследовать состояние матери, также единственной дочери одного землевладельца; состояние это заключалось в нескольких арпанах[[17]](#footnote-17) земли в окрестностях Парижа, которые старик все еще обрабатывал; вторую часть приданого Селесты составляло состояние добряка Ланпрэна, бывшего служащего банкирских домов Телюссона и Келлера, перешедшего во Французский банк с первых дней его основания[[18]](#footnote-18). Ланпрэн дослужился до должности старшего кассира и пользовался уважением и доверием управляющего банком и ревизоров.

Поэтому совет банка, прослышав, что речь идет о браке Селесты с почтенным чиновником министерства финансов, пообещал в качестве свадебного подарка шесть тысяч франков. Эта сумма, прибавленная к двенадцати тысячам франков, которые давал папаша Ланпрэн, и двенадцати тысячам франков, которые обещал господин Галар, огородник из Отейля, увеличивала размер приданого Селесты до тридцати тысяч франков. Старик Галар, господин и госпожа Ланпрэн были в восторге от этого брачного союза; старший кассир знал мадемуазель Тюилье и считал ее одной из наиболее достойных и наиболее честных девиц Парижа. К тому же Бригитта ослепила его своими облигациями государственного займа, не преминув сообщить при этом, что она никогда не выйдет замуж; ни старший кассир, ни его супруга, истинные люди золотого века, никогда бы не позволили себе судить Бригитту: они были просто ошеломлены блестящим положением красавца-Тюилье, и свадьба состоялась, как принято выражаться, ко всеобщему удовольствию.

Управляющий банком и секретарь правления были свидетелями со стороны невесты, а г-н де ла Биллардиер, начальник отделения, и г-н Рабурден[[19]](#footnote-19), правитель канцелярии, — свидетелями со стороны Тюилье. Через шесть дней после свадьбы старик Ланпрэн стал жертвой дерзкой кражи, о которой немало писали газеты того времени, но под влиянием событий 1815 года она довольно скоро была забыта. Ворам удалось скрыться, Ланпрэн пожелал возместить недостачу, и, хотя банк отнес украденную сумму на счет убытков, несчастный старик умер от горя, не вынеся позора: семидесятилетний служака рассматривал этот налет как посягательство на его незапятнанную репутацию.

Госпожа Ланпрэн предоставила все наследство своей дочери, г-же Тюилье, а сама переехала жить к отцу в Отейль. В 1817 году старик внезапно умер; необходимость обрабатывать или сдавать в аренду огороды и поля пугала г-жу Ланпрэн, и она попросила Бригитту, чьи способности и честность всегда восхищали ее, обратить в деньги земельные владения покойного Галара и устроить все таким образом, чтобы состояние перешло к ее дочери, г-же Тюилье, ей же была бы оставлена лишь рента в полторы тысячи франков и дом в Отейле. Распроданные по частям земли старого огородника принесли тридцать тысяч франков. Наследство, завещанное Ланпрэном, достигало такой же суммы, и оба эти состояния вместе с приданым Селесты составили в 1818 году девяносто тысяч франков.

Приданое молодой женщины было обращено в акции Французского банка, когда они стоили по девятьсот франков каждая. На остальные шестьдесят тысяч франков Бригитта приобрела государственную ренту, приносившую годовой доход в размере пяти тысяч франков (в ту пору курс ее был именно таким), из них полторы тысячи франков были предоставлены в пожизненное пользование вдове Ланпрэн. Таким образом, к началу 1818 года семейство Тюилье располагало годовым доходом в одиннадцать тысяч франков, причем ими бесконтрольно распоряжалась Бригитта; доход этот складывался из шестисот франков, которые вносила в дом она сама, из тысячи восьмисот франков должностного оклада Тюилье, из трех с половиной тысяч франков ренты Селесты и из дивидендов от тридцати четырех акций Французского банка. Теперь ей следовало прежде всего определить размер расходов каждого не только для того, чтобы пресечь какие бы то ни было возражения, но и для того, чтобы не возникало никаких споров.

Прежде всего Бригитта предоставила пятьсот франков в месяц брату и повела дело так, чтобы расходы по дому не превышали пяти тысяч франков в год; она положила по пятьдесят франков в месяц своей невестке, заявив, что сама удовольствуется сорока франками. Чтобы подкрепить свое владычество денежным могуществом, Бригитта накапливала доходы от принадлежавшей лично ей ренты; в канцеляриях поговаривали, будто она при посредничестве брата, служившего ей дисконтером, давала деньги в рост. За пятнадцать лет — с 1815 по 1830 год — капитал Бригитты вырос до шестидесяти тысяч франков; столь внушительную сумму можно, однако, объяснить финансовыми операциями с государственной рентой (которую порою можно было приобрести за сорок процентов номинальной стоимости), оставив без внимания более или менее обоснованные обвинения в ростовщичестве, ибо они не играют существенной роли для нашей истории.

С первых же дней Бригитта полностью подчинила себе злополучную г-жу Тюилье. Для этого оказалось достаточно несколько раз пришпорить бедняжку и покрепче натянуть узду, — к тирании прибегать даже не пришлось, ибо жертва быстро покорилась. Селеста, как это в свое время предугадала Бригитта, была лишена ума и образованности, она привыкла к сидячему образу жизни, к спокойному, размеренному существованию и обладала удивительно мягким нравом; она была благочестива в самом глубоком смысле этого слова и охотно искупила бы самым строгим покаянием ущерб, который ей довелось бы невольно причинить своему ближнему. Мать Селесты сама вела хозяйство, все подавала дочери, и молодая женщина совсем не знала жизни; анемичная от природы, она мало двигалась и быстро уставала; Селеста была типичной дочерью парижского народа, который не может похвалиться красивыми детьми, ибо они вырастают в бедности, в обстановке непосильного труда, в душных помещениях, лишенных самых необходимых удобств и простора.

Ко времени своего замужества Селеста была невысокой женщиной с неприятного оттенка белесыми волосами, рыхлой, медлительной, неуклюжей, не умевшей себя держать. Ее слишком широкий и выпуклый лоб походил на лоб человека, больного водянкой мозга; этот восковой купол нависал над маленьким остроконечным личиком, напоминавшим мордочку мыши: немногие гости, присутствовавшие на свадьбе, невольно подумали при взгляде на нее, что эту женщину раньше или позже ждет безумие. Ее светло-голубые глаза и губы, на которых застыла неподвижная улыбка, еще больше укрепляли в такой мысли. В тот торжественный день она своим видом, поведением и манерами напоминала приговоренного к смерти, который мечтает лишь о том, чтобы все поскорее закончилось.

— Она малость тронута!.. — сказал Кольвиль Тюилье.

Бригитта была призвана сыграть роль ножа, которому предстояло безжалостно вонзиться в это беззащитное существо. Старая дева была полным контрастом молодой женщине. Она отличалась строгой красотою, у нее были правильные черты лица, теперь уже увядшего от трудов, ибо ей с детства приходилось выполнять тяжелые и неблагодарные работы, и от тайных лишений, которым она подвергала себя, чтобы прикопить деньжат. Краски на ее лице рано поблекли, и оно приобрело сероватый оттенок. Под карими глазами залегли темные круги, отливавшие синевой; верхняя губа была украшена черным пушком, точно вымазана сажей. Тонкие, вечно сжатые губы и надменный лоб, увенчанный некогда черными, а теперь посеребренными сединой волосами, дополняли ее портрет. У нее была осанка красивой женщины, и все в ней выдавало тот опыт, какой приобретается к тридцати годам, когда страсти угасают и, как говорят привратники, на лице человека *проступает печать его похождений*.

Для Бригитты Селеста была счастливой находкой — человеком, которого надо обтесать, новым подданным, которого надо поработить. Она не упускала случая уколоть невестку ее *вялостью* — то было любимое словечко старой девы — и испытывала жестокую радость, подстегивая энергию этого слабого создания, хотя, надо заметить, пришла бы в полное отчаяние, окажись ее невестка человеком деятельным. Селеста испытывала чувство неловкости, видя, что Бригитта с утра до вечера неутомимо хлопочет по хозяйству, и всячески старалась ей помочь. Кончилось это тем, что г-жа Тюилье вскоре заболела, и Бригитта окружила ее заботами, как любимую сестру, но не упускала случая сказать в присутствии Тюилье: «Ведь у вас так мало сил, милочка! Не утруждайте же себя!..» Она выставляла напоказ нерасторопность Селесты и утешала ее так, как умеют делать лишь старые девы, — выпячивая тем самым собственные достоинства.

При этом, как все люди с деспотической натурой, которые любят подчинять окружающих своей власти и вместе с тем испытывают почти нежное сочувствие к физическим страданиям, Бригитта ухаживала за невесткой настолько внимательно, что даже поразила мать Селесты, приехавшую навестить дочь.

Когда г-жа Тюилье оправилась, Бригитта, не стесняясь присутствием молодой женщины, называла ее «тряпкой», «ничтожеством» и другими не менее изысканными эпитетами. Селеста уходила плакать к себе в комнату, и, когда Тюилье заставал ее там в слезах, он старался оправдать сестру, говоря:

— Она отличная женщина, только резковата; она вас по-своему любит, как и я, разумеется.

Селеста, помня о том, как трогательно невестка заботилась о ней во время болезни, прощала ей мелкие придирки. Надо сказать, что Бригитта смотрела на брата, как на самодержавного властителя: она не уставала прославлять его в присутствии Селесты, и сама относилась к нему, как к неограниченному монарху, к новому Ладиславу, как к непогрешимому папе. Г-же Тюилье, потерявшей отца, а затем и деда, почти покинутой матерью, которая навещала ее по четвергам и которую семейство Тюилье, в свою очередь, навещало по воскресеньям в хорошую погоду, некого было любить за исключением мужа: ведь, во-первых, он был ее мужем, а во-вторых, оставался в ее глазах красавцем-Тюилье. К тому же он изредка обращался с ней, как с женою, и все это вместе взятое заставляло Селесту обожать его. Он представлялся бедняжке тем более совершенным, что порой принимал ее сторону и бранил сестру: не потому, конечно, что жалел жену, а потому, что был эгоистом, и хотел, чтобы в те редкие минуты, когда он бывал дома, там царили мир и спокойствие.

И действительно, красавец-Тюилье после обеда вновь уходил и возвращался далеко за полночь: он неизменно являлся на балы или в гости к людям своего круга один, словно все еще пребывал холостым. Поэтому обе женщины почти целые дни проводили вдвоем. Мало-помалу Селеста, становившаяся все более покорной, превратилась в бессловесную рабыню. Бригитте же того и надо было, и эта королева домашнего очага, дотоле безжалостно помыкавшая своей безответной жертвой, теперь ощутила к ней некоторое сочувствие. В конце концов она перестала относиться к невестке свысока, прекратила говорить колкости и отказалась от презрительного тона: все это было уже излишне, ибо Селеста сдалась на милость победителя.

Заметив на шее своей жертвы ссадины от ошейника, Бригитта почувствовала жалость к рабыне, и Селеста узнала лучшие времена. Сравнивая свою нынешнюю жизнь с былым существованием, она прониклась некоторой привязанностью к палачу. По воле судьбы у несчастной была отнята последняя возможность выказать энергию, защитить себя, занять достойное место в доме, поддерживавшемся на ее средства, хотя она об этом и не подозревала, и потребовать себе иной доли, вместо того чтобы довольствоваться уделом приживалки, на который ее обрекли.

Прошло уже шесть лет после замужества Селесты, а у нее все еще не было ребенка. Это бесплодие, заставлявшее бедную женщину проливать каждый месяц потоки слез, долгое время подогревало презрение Бригитты, которая упрекала невестку в том, что та ни на что не годна, не способна даже рожать детей. Только к 1820 году старая дева, мечтавшая лелеять сына своего брата как собственного, перестала оплакивать будущую судьбу семейного состояния, которое, по ее словам, должно было впоследствии перейти в руки правительства.

К тому времени, когда начинается наша история — а именно в 1839 году, — Селесте исполнилось сорок шесть лет, и она перестала оплакивать свое бесплодие, ибо прониклась печальной уверенностью в том, что уже никогда не станет матерью. И странная вещь! За двадцать пять лет совместной жизни жертва умудрилась в конце концов обезоружить Бригитту, выбить нож из ее рук, и теперь Бригитта любила Селесту не меньше, чем Селеста любила Бригитту. Время, достаток, каждодневное общение, общий дом, покорность и ангельская кротость Селесты — все это, вместе взятое, без сомнения, стерло острые углы, сгладило шероховатости и привело к наступлению ясной осени. К тому же обеих женщин объединяло общее чувство, переполнявшее их души: они обожали счастливого эгоиста Тюилье.

В конце концов Бригитта и Селеста, у которых не было детей, пришли к тому, к чему приходят все женщины, безуспешно мечтавшие о ребенке, — они прониклись любовью к чужому ребенку. Это мнимое материнство, не уступающее по силе чувства материнству подлинному, требует от автора особого объяснения, которое поможет многое понять в этой Сцене и, в частности, прольет свет на то, почему мадемуазель Тюилье так старалась приискать новое занятие для брата.

Тюилье начал свою карьеру как сверхштатный чиновник одновременно с Кольвилем — самым близким его другом. Словно для контраста, неведомые силы, управляющие жизнью общества, поместили рядом с мрачной и печальной семьей Тюилье семью Кольвиля; на первый взгляд трудно не прийти к выводу, что этот случайный контраст мало поучителен, однако прежде чем утвердиться в этом выводе, читателю следует дойти до конца настоящей драмы, к несчастью, совершенно правдивой; но тут уж, как говорится, писатель ни при чем.

Кольвиль был единственным сыном одаренного музыканта, который во времена Франкера и Ребеля был первым скрипачом Оперы. Отец Кольвиля под старость каждые несколько дней рассказывал анекдоты о том, как проходили репетиции «Деревенского колдуна»[[20]](#footnote-20): он с удивительной точностью описывал Жан Жака Руссо и неподражаемо имитировал его; Кольвиль и Тюилье были закадычными друзьями; у них не было секретов друг от друга, и дружба их, начавшаяся в пятнадцатилетнем возрасте, оставалась безоблачной вплоть до 1839 года — того времени, когда начинается наш рассказ.

Кольвиль принадлежал к разряду тех чиновников, которых в канцелярии насмешливо именуют «мастерами на все руки». Этим прозвищем они обязаны своей ловкости и расторопности. Кольвиль был отличный музыкант, имя и влияние отца доставили ему место первого кларнетиста в Комической опере; до своей женитьбы Кольвиль был богаче Тюилье и нередко делился деньгами с другом. В противоположность Тюилье Кольвиль женился по любви: его избранницей была некая мадемуазель Флавия, незаконнорожденная дочь знаменитой танцовщицы Оперы; отцом Флавии называли дю Бургье, одного из самых богатых поставщиков времен Директории; разорившись в 1800 году, человек этот перестал уделять какое бы то ни было внимание маленькой дочери, тем более что у него имелись кое-какие сомнения насчет добродетельности прославленной балерины.

Хорошенькую девушку, которая не могла назвать имя своего отца, ожидало грустное будущее, если бы Кольвиль, часто бывавший в роскошном доме примы-балерины Оперы, не влюбился во Флавию и не женился бы на ней. Князь Галатион, который покровительствовал в сентябре 1815 года выдающейся танцовщице, чья карьера в то время уже подходила к концу, дал Флавии двадцать тысяч франков в приданое, мать присоединила к ним пышные туалеты. Завсегдатаи дома и артисты Оперы подарили молодоженам драгоценности и посуду, так что у Кольвилей оказалось больше предметов роскоши, нежели денег. Привыкшая к богатству, Флавия с помощью мебельщика матери обставила себе прелестное гнездышко, и в нем эта молодая женщина, любившая все изящное, все артистичное да и самих артистов, чувствовала себя полновластной королевой.

Госпожа Кольвиль была одновременно красива и пикантна, остроумна и весела, грациозна — короче говоря, приятна во всех отношениях. Когда ее матери исполнилось сорок три года, та покинула сцену и отправилась жить в деревню, лишив тем самым свою дочь дополнительного источника к существованию, ибо Флавии кое-что перепадало от щедрот танцовщицы, жившей на широкую ногу. Друзья г-жи Кольвиль охотно посещали ее дом, зачастую даже не догадываясь, сколько усилий прилагает хозяйка, чтобы принимать гостей. С 1816 по 1826 год она родила пятерых детей. По вечерам Кольвиль становился музыкантом, а с семи до девяти утра вел счетные книги у какого-то негоцианта. В десять утра он уже сидел за столом в канцелярии. Итак, по вечерам он дул в деревянную трубу, а по утрам писал гусиным пером счета, и это позволяло ему выколачивать от семи до восьми тысяч франков в год.

Госпожа Кольвиль разыгрывала из себя светскую женщину: по пятницам она устраивала приемы, раз в две недели давала званый обед, а раз в месяц в ее доме происходили концерты. С Кольвилем они виделись лишь за обедом да по вечерам: он возвращался домой почти в полночь. Нередко и в этот поздний час г-жи Кольвиль еще не было дома. Она посещала спектакли, ибо знакомые часто оставляли ей ложу, и молодая женщина односложно просила мужа заехать за нею в тот или иной дом, где она танцевала или ужинала. Кормили у г-жи Кольвиль отменно, и хотя общество у нее собиралось пестрое, зато всегда забавное: тут бывали знаменитые актрисы, художники, писатели, здесь можно было встретить и нескольких богачей. Элегантностью г-жа Кольвиль могла поспорить с Туллией, примой-балериной Оперы, с которой она дружила. Надо сказать, что хотя Кольвили проедали свой капитал и обычно в конце месяца сидели без гроша, Флавия никогда не делала долгов.

Кольвиль был неизменно счастлив, он все так же любил свою жену и был ей лучшим другом. Она всегда встречала его приветливой улыбкой, лицо ее при появлении мужа озарялось радостью, и он каждый раз уступал ее чарам, ее неотразимым манерам. Бешеная энергия, которую требовали от него три должности, отвечала, впрочем, нраву и темпераменту Кольвиля. То был добродушный, толстый человек, краснощекий, веселый, щедрый, полный фантазии. За десять лет супруги ни разу не поссорились. В канцеляриях его считали *сумасбродом*, как всех людей с артистической натурой, но такое мнение свидетельствовало о поверхностности умов тех, кто его высказывал, ибо они принимали постоянную озабоченность и спешку труженика за суетливость бездельника.

У Кольвиля хватило ума прикинуться человеком недалеким; он расхваливал каждому свое семейное счастье, подчеркивал свое увлечение анаграммами, и всем окружающим казалось, будто он всецело поглощен этой страстью. Чиновники, служившие с ним в одном отделении министерства, правители канцелярий и даже начальники отделений посещали его концерты; время от времени он весьма кстати доставал им билеты на спектакли, ибо нуждался в том, чтобы они смотрели сквозь пальцы на его постоянные отлучки. Ведь репетиции отнимали у Кольвиля добрую половину того времени, какое он должен был проводить в канцелярии; правда, полученное им благодаря отцу музыкальное образование было настолько глубоко и солидно, что позволяло ему ходить лишь на генеральные репетиции. Связи г-жи Кольвиль играли немалую роль в том, что и театр и министерство считались с трудным положением этого достойного «мастера на все руки», который, впрочем, заботливо пестовал некоего молодого человека, горячо рекомендованного ему женой: он надеялся воспитать из него в будущем великого музыканта, а пока что подающий надежды юноша время от времени заменял Кольвиля в оркестре и должен был впоследствии унаследовать его место первого кларнетиста.

И действительно, в 1827 году, когда Кольвиль вышел в отставку, молодой человек сделался первым кларнетистом.

Все критические высказывания по адресу Флавии можно свести к следующей фразе: «Она *чуть-чуть* кокетка, эта госпожа Кольвиль!» Старший из детей Кольвиля, появившийся на свет в 1816 году, был живым портретом своего добродушного папаши. В 1818 году г-жа Кольвиль превыше всего — даже превыше искусства — ценила кавалерию, она отличала тогда младшего лейтенанта драгун Сен-Шамана, молодого и богатого Шарля Гондревиля, который впоследствии умер во время Испанской кампании; именно в ту пору у нее и родился второй сын, которого она решила посвятить военной карьере. В 1820 году молодая женщина смотрела на банк как на нерв промышленности, как на опору сословий, и ее кумиром был тогда великий Келлер, прославленный оратор; у нее родился сын, которого назвали Франсуа, и Флавия решила сделать из него позднее коммерсанта, зная, что Келлер никогда не откажет молодому человеку в покровительстве. В конце 1820 года Тюилье, близкий друг г-на и г-жи Кольвиль, верный поклонник Флавии, испытал острую необходимость излить на груди этой великолепной женщины свои огорчения и поведать ей о своих семейных невзгодах: оказывается, он, Тюилье, уже шесть лет жаждал ребенка, но господь бог не даровал благословения всем его усилиям, и несчастная г-жа Тюилье тщетно возносила к небу молитвенные обеты по девять дней подряд, она даже совершила паломничество в храм богоматери в город Льес! Он так подробно описал собеседнице Селесту, что с ее уст слетели слова: «Бедняжка Тюилье!»; надо сказать, что г-жа Кольвиль также пребывала в печали, в ту пору у нее не было никакого определенного пристрастия, и она, в свою очередь, поведала Тюилье о собственных горестях. Великий Келлер, этот герой «левой», на самом деле оказался человеком мелочным; прелестная Флавия познала оборотную сторону славы, глупость банкира, сухую душу трибуна. Оратор, произносивший блестящие речи в палате депутатов, весьма дурно обошелся с нею. Тюилье был возмущен. «Только глупцы умеют по-настоящему любить, — сказал он, — остановите свой выбор на мне!» И красавец-Тюилье принялся усилению ухаживать за г-жой Кольвиль, он стал ее присяжным *воздыхателем*, как выражались во времена Империи.

— А ты заглядываешься на мою жену! — как-то сказал ему, смеясь, Кольвиль. — Будь осторожен, она прикует тебя к себе цепью, как и всех остальных.

Такого рода милыми шутками Кольвилю удалось охранять достоинство супруга перед товарищами по канцелярии. В 1820—1821 году Тюилье, ссылаясь на права друга дома, захотел помочь Кольвилю, который в прошлом не раз помогал ему, и за полтора года он одолжил семейству своих друзей десять тысяч франков с тем, чтобы никогда больше не заикаться об этих деньгах. Весной 1821 года г-жа Кольвиль родила прелестную девочку, ее крестным отцом стал Тюилье, а крестной матерью — его жена; девочку назвали Селеста-Луиза-Каролина-Бригитта. Мадемуазель Тюилье также захотела дать одно из своих имен новорожденной.

Имя Каролины девочке дали, чтобы проявить внимание к самому Кольвилю. Старуха Ланпрэн решила взять малышку к себе в Отейль и нашла ей хорошую кормилицу. Селеста и ее невестка ездили туда два раза в неделю, чтобы проведать крошку. Когда г-жа Кольвиль оправилась после родов, она сказала Тюилье серьезным и искренним тоном:

— Мой дорогой, если вы хотите, чтобы мы остались добрыми друзьями, будьте отныне лишь другом нашей семьи; Кольвиль вас любит, ну и, по совести говоря, в семье достаточно одного мужа.

— Объясните мне, пожалуйста, — спросил красавец Тюилье у танцовщицы Туллии, которая в это время была в гостях у г-жи Кольвиль, — почему женщины не испытывают ко мне прочной привязанности? Я не Аполлон Бельведерский, но я ведь также и не Вулкан[[21]](#footnote-21); по-моему, меня вполне можно терпеть, я не лишен остроумия, я способен сохранять верность...

— Хотите услышать правду? — спросила Туллия.

— Конечно, — вымолвил красавец Тюилье.

— Так вот, иногда мы еще можем любить животное, но глупца — никогда.

Этот ответ сразил Тюилье, он так и не оправился; с тех пор он неизменно пребывал в меланхолии и обвинял всех женщин в причудах.

— Я же тебя предупреждал! — сказал ему Кольвиль. — Конечно, я не Наполеон и, скажу откровенно, дружище, не хотел бы им быть, но у меня есть своя Жозефина... Истинная жемчужина!

Секретарь министра г-н де Люпо, которому г-жа Кольвиль приписывала больше влияния, чем то, каким он на самом деле пользовался, так что ей приходилось позднее, говоря о нем, признавать: «Де Люпо — одна из моих ошибок...», — в ту пору был некоторое время самой важной персоной в салоне Кольвиля; однако когда Флавия убедилась, что де Люпо не может получить для Кольвиля место в отделении Буа-Левана, у нее достало здравого смысла обидеться на то, что секретарь министра уделяет слишком много внимания г-же Рабурден, жене правителя одной из канцелярий, этой кривляке, которая не только ни разу не пригласила к себе г-жу Кольвиль, но даже имела наглость дважды отказаться от посещения концерта в доме Флавии.

Госпожа Кольвиль была сильно удручена смертью молодого Гондревиля; она долго оставалась безутешна, по ее собственным словам, она усмотрела в этом несчастье перст божий. В 1824 году она неожиданно остепенилась, заговорила о бережливости, отменила приемы, стала уделять все свое внимание детям — словом, сделалась добродетельной матерью семейства; теперь у нее не было никакого фаворита, она усердно посещала церковь, одевалась скромно, главным образом в серые цвета, без умолку говорила о католицизме и о приличиях; в результате этого увлечения мистицизмом в 1825 году на свет появился очаровательный младенец, которого мать назвала Теодор, что означает *богоданный*.

В 1826 году, в пору расцвета Конгрегации[[22]](#footnote-22), Кольвиля назначили помощником правителя канцелярии в отделении Клержо, а в 1828 году он сделался сборщиком налогов в одном из округов города Парижа. Кольвиль был награжден орденом Почетного легиона, что давало ему право поместить свою дочь в пансион Сен-Дени[[23]](#footnote-23). В 1823 году половинная стипендия, которую Келлер выхлопотал Шарлю, старшему из сыновей Кольвиля, перешла ко второму сыну; Шарль поступил в коллеж святого Людовика с полной стипендией, а третий сын Кольвиля, которому покровительствовала жена дофина, был принят в коллеж Генриха IV, где также получал стипендию, правда, в неполном размере.

В 1830 году Кольвилю, счастливому отцу многочисленного семейства, пришлось подать в отставку: его приверженность к старшей ветви Бурбонов[[24]](#footnote-24) была слишком широко известна; однако он проявил редкую изворотливость и покинул свой пост с пенсией в две тысячи четыреста франков, назначенной ему во внимание к многолетней службе; кроме того, он получил в возмещение за оставляемую должность десять тысяч франков, уплаченных его преемником; одновременно Кольвиль был произведен в офицеры ордена Почетного легиона. Несмотря на все это, он оказался в стесненных обстоятельствах, и в 1832 году мадемуазель Тюилье посоветовала Кольвилю поселиться по соседству с ними, намекнув ему на возможность получить место в мэрии, которого он и в самом деле добился через две недели; новая должность приносила ему тысячу экю в год.

Шарль Кольвиль поступил к этому времени в Морское училище. Коллежи, где учились два его младших брата, помещались поблизости от их дома. Семинария Сен-Сюльпис, куда в один прекрасный день предстояло поступить младшему сыну Кольвиля, находилась в двух шагах от Люксембургского сада. Закадычные друзья, Тюилье и Кольвиль могли бы вместе коротать дни. В 1833 году г-жа Кольвиль, которой было в то время тридцать пять лет, поселилась на улице д'Анфер, на углу улицы Дез-Эглиз, вместе с Селестой и маленьким Теодором. Таким образом, Кольвиль проживал теперь на одинаковом расстоянии от своей мэрии и от улицы Сен-Доминик. Семейство Кольвилей, которое не раз меняло образ жизни и знавало разные времена — Кольвили живали и на широкую ногу, принимая гостей и давая праздничные обеды, живали и замкнуто, почти ни с кем не встречаясь, — было теперь обречено на безвестное прозябание мелких буржуа, чей годовой доход ограничивается пятью тысячами четырьмястами франков.

Селесте исполнилось в то время двенадцать лет; красивой девочке нужны были учителя, ее воспитание должно было стоить не меньше двух тысяч франков в год. Мать поняла, что необходимо прибегнуть к помощи крестного отца и крестной матери Селесты. Вот почему она приняла разумное предложение мадемуазель Тюилье, которая, не беря на себя никаких обязательств, тем не менее ясно дала понять г-же Кольвиль, что состояние самого Тюилье, его жены и ее собственное предназначены для Селесты. Девочка оставалась в Отейле до семи лет; старуха Ланпрэн обожала ее и баловала; в 1829 году г-жа Ланпрэн умерла, оставив двадцать тысяч франков и дом, который был продан необыкновенно удачно за двадцать восемь тысяч франков. Все эти годы маленькая проказница почти не видала матери, но зато постоянно видела жену г-на Тюилье и его сестру. В 1829 году Селесту водворили в отчий дом, и она прожила там до 1833 года под неусыпным попечением матери, которая старалась как можно лучше исполнять свои материнские обязанности и, как все женщины, терзаемые угрызениями совести, порою даже чересчур усердствовала. Флавия не была дурной матерью, но она слишком сурово обращалась с девочкой; вспоминая собственное воспитание, она дала себе тайный обет вырастить из Селесты порядочную женщину, а не женщину легкого поведения. Она водила дочь к обедне, Селеста готовилась к первому причастию под эгидой некоего парижского священника, позднее сделавшегося епископом. Девочка была особенно благочестива потому, что ее крестная, г-жа Тюилье, по праву слыла святой женщиной; Селеста обожала крестную, она чувствовала, что эта несчастная, всеми покинутая женщина любит ее больше, чем родная мать.

С 1833 по 1839 год Селеста Кольвиль получила самое блестящее воспитание, как его понимают буржуа. С ней занимались лучшие учителя музыки, и она сносно играла на фортепьяно, умела рисовать акварели, отлично танцевала, хорошо знала французскую грамматику, историю, географию, английский и итальянский языки — словом, все, что полагается знать барышне из общества. Селеста была среднего роста, чуть полная, близорукая, никто не назвал бы ее ни дурнушкой, ни красавицей, она не могла пожаловаться на плохой цвет лица, но ей недоставало изящества. Внешне сдержанная, девушка обладала повышенной чувствительностью; все — крестный, крестная, мадемуазель Тюилье и отец Селесты — единодушно сходились на том, что она очень привязчива. Впрочем, какие родители не думают этого о своей дочери! Самым привлекательным во внешности Селесты были великолепные шелковистые волосы пепельного цвета, но ее руки и ноги выдавали девушку из буржуазной семьи.

Селеста обладала многими бесценными добродетелями: она была добра, простодушна, приветлива, любила отца и мать и готова была пожертвовать для них жизнью. Воспитанная в глубоком преклонении перед крестным и Бригиттой, которую Селеста называла *тетя Бригитта*, г-жой Тюилье и собственной матерью, все более сближавшейся с красавцем времен Империи, девочка была необыкновенно высокого мнения об отставном помощнике правителя канцелярии. Особняк Тюилье на улице Сен-Доминик казался ей тем же, чем кажется дворец Тюильри[[25]](#footnote-25) молодому придворному, приверженцу новой королевской династии.

Тюилье не мог не поддаться воздействию бюрократической машины, которая давит на человека и обезличивает его. Успех у женщин выхолостил в нем мужчину, монотонная канцелярская работа выхолостила в нем чиновника, и к тому времени, когда бывший помощник правителя канцелярии поселился на улице Сен-Доминик, он уже растерял все свои способности; однако его утомленное лицо, хранившее надменное выражение, в соединении с некоторым самодовольством, напоминавшим самомнение высокопоставленного чиновника, производило сильное впечатление на Селесту. Девушка страстно обожала это мертвенно бледное лицо. Она сумела стать истинной радостью дома Тюилье.

Кольвили и их дети как-то естественно сделались ядром общества, которое мадемуазель Тюилье из своеобразного честолюбия собирала у себя ради брата. На первом же параде национальной гвардии бывший сборщик налогов и бывший помощник правителя канцелярии встретились с одним из бывших чиновников отделения ла Биллардиера, г-ном Фельоном, который уже тридцать лет обитал в квартале Сен-Жак и занимал пост командира батальона национальной гвардии. То был один из наиболее уважаемых людей своего округа. Дочь его, в прошлом младшая учительница в пансионате Лаграва, в свое время вышла замуж за преподавателя начальной школы на улице Сен-Гиацинт г-на Барниоля.

Старший сын Фельона преподавал математику в королевском коллеже; он давал уроки, занимался репетиторством и, по выражению отца, страстно увлекался чистой математикой. Второй сын Фельона проходил курс в Училище путей сообщения. Фельон вышел в отставку с девятьюстами франками пенсиона, он обладал рентой в девять с лишним тысяч франков — плодом сбережений, которые его жене и ему удалось скопить за тридцать лет труда и лишений. Кроме того, он владел маленьким домиком с садом, расположенным в тупике Фейантин (за тридцать лет Фельон ни разу не употребил старинное слово *закоулок* ).

Дюток, письмоводитель мирового судьи, в прошлом был министерским чиновником; однажды, когда возникло малоприятное положение, в каком порой оказываются представительные правительства, Дюток в самую критическую минуту согласился взять на себя роль козла отпущения, за что и был тайно вознагражден некоей суммой, позволившей ему впоследствии купить себе место письмоводителя. Человек этот, кстати сказать, малопочтенный, шпионивший за своими товарищами по канцелярии, встретил в доме Тюилье более прохладный прием, нежели тот, на который рассчитывал; однако именно холодное отношение домовладельцев и побуждало Дютока с упорством являться к ним в гости.

Письмоводитель, оставшийся старым холостяком, не был чужд пороков; он тщательно скрывал интимные стороны своей жизни и, как никто, умел льстить людям, занимавшим более высокое положение, чем он. Мировой судья души в нем не чаял. Хотя Дюток не вызывал уважения, в семье Тюилье его терпели, ибо он не останавливался перед самой низкопробной и грубой лестью, которая всегда дает желаемый эффект. Дюток знал подспудную жизнь Тюилье, он был отлично осведомлен о его отношениях с Кольвилем и, в частности, о его отношениях с г-жой Кольвиль; Тюилье опасался острого языка письмоводителя, и поэтому Дютока хотя и принимали не особенно радушно, но все же терпели. Однако истинным украшением салона Тюилье была семья некоего в прошлом мелкого и незаметного чиновника, вызывавшего жалость всех канцеляристов: он настолько бедствовал, что в 1827 году был вынужден оставить службу и заняться торговлей, благо ему пришла в голову смелая мысль.

Минар угадал способ составить себе состояние посредством одного из тех малопочтенных методов, которые опозорили французскую торговлю, но в то время — речь идет о 1827 годе — еще не стали достоянием гласности. Он купил партию чая, смешал его с чаем, уже бывшим в употреблении и затем высушенным; вторую операцию он проделал с шоколадом, — она немногим отличалась от его проделки с чаем и также позволила предприимчивому дельцу продать свой товар с барышом. Торговля колониальными товарами, начатая Минаром в квартале Сен-Марсель, вскоре превратила его в известного негоцианта, он стал владельцем предприятия и благодаря связям, возникшим у него в деловых кругах, сумел получить доступ к источникам сырья; с той поры Минар, уже не прибегая к плутовству, занялся оптовой торговлей теми же колониальными товарами, которые он вначале продавал, пользуясь не вполне честными приемами. Отныне Минар имел дело с огромными партиями продовольствия, прослыл знатоком в этой области и в 1835 году уже считался самым богатым негоциантом в квартале Мобер. Он купил один из наиболее красивых домов на улице Масон-Сорбон; Минар несколько лет подряд занимал пост помощника мэра, а в 1839 году сделался мэром округа и судьей Коммерческого суда. У него был своей выезд, и он владел участком земли возле Ланьи; отправляясь на придворные балы, его жена надевала бриллианты, а сам он с гордостью поглядывал на розетку офицера ордена Почетного легиона, красовавшуюся в его петлице.

Супруги Минар широко занимались благотворительностью. Возможно, они хотели частично вернуть беднякам то, что в свое время отняли у покупателей. Фельон, Кольвиль и Тюилье встретились с Минаром на выборах, и отсюда возникли дружеские связи, тем более тесные, что г-жа Зели Минар была в восторге оттого, что ее *барышня* познакомилась с Селестой Кольвиль. На всю жизнь в памяти Селесты сохранился большой бал у Минаров — то был ее первый выезд в свет; девушке недавно исполнилось шестнадцать лет, и она была одета в небесно-голубые тона, как того требовало ее имя[[26]](#footnote-26) которое обещало стать пророческим для всей ее жизни. Селеста жаждала подружиться с мадемуазель Минар, в то время уже двадцатилетней девушкой, вот почему она без устали просила отца и крестного ездить с нею в дом Минара, поражавший воображение золочеными салонами и роскошной мебелью. Здесь собирались политические знаменитости тех кругов общества, которые получили название «золотой середины»[[27]](#footnote-27): например, г-н Попино, ставший впоследствии министром торговли, и Кошен, сделавшийся бароном Кошеном, — бывший чиновник отделения Клержо в министерстве финансов; Кошен, тесно связанный с делами фирмы москательных товаров, был, как и г-н Ансельм Попино, истинным оракулом квартала Ломбар и Бурдоннэ. Кумиром в доме Минара был его старший сын, адвокат, намеревавшийся прийти на смену тем адвокатам, которые после 1830 года покинули Дворец Правосудия[[28]](#footnote-28), чтобы с головой окунуться в политику; супруги день и ночь думали о том, как бы удачнее женить сына. Зели Минар, в прошлом мастерица цветочной мастерской, испытывала страстное преклонение перед высшими сферами общества, куда она мечтала проникнуть благодаря браку дочери и сына; между тем Минар, куда более благоразумный, чем его жена, и, можно сказать, пропитанный ощущением силы среднего класса, который после Июльской революции приобщился к различным формам власти, больше интересовался состоянием.

Он часто появлялся в гостиной Тюилье, ибо хотел собрать побольше сведений о наследстве, ожидавшем Селесту. Подобно Дютоку и Фельону, Минар не был чужд некогда ходившим слухам о связи Тюилье и Флавии Кольвиль, и теперь с первого взгляда заметил обожание, которым все члены семьи Тюилье окружали крестницу Жерома. Дюток, надеявшийся быть принятым у Минаров, беспардонно льстил мэру и угодничал перед ним. Когда Минар, этот Ротшильд своего округа, появился в доме Тюилье, Дюток весьма тонко сравнил его с Наполеоном: он знавал Минара, когда тот служил в канцелярии и был худым, бледным и тщедушным, а теперь превратился в цветущего, крупного и толстого мужчину. «В отделении ла Биллардиера вы походили на Бонапарта до восемнадцатого брюмера[[29]](#footnote-29), — сказал Дюток, — а ныне я вижу перед собой Наполеона времен Империи!» Минар холодно выслушал комплимент письмоводителя и даже не пригласил его к себе; этим он приобрел смертельного врага в лице злопамятного Дютока.

Господин и госпожа Фельон, люди весьма достойные, не могли тем не менее удержаться от расчетов и тайных надежд; они полагали, что Селесте сам бог велел выйти замуж за их сына-математика; вот почему, желая укрепить позиции в салоне Тюилье, они ввели туда своего зятя, г-на Барниоля, человека весьма уважаемого в предместье Сен-Жак, и старого чиновника мэрии, их близкого друга, г-на Лодижуа, которому Кольвиль в некотором роде перебежал дорогу: дело в том, что Лодижуа уже двадцать лет просидел в мэрии и рассчитывал, что во внимание к его долголетней службе ему будет предоставлена должность секретаря; однако ее получил Кольвиль. Таким образом, Фельоны составляли внушительную фалангу из семи человек, всецело преданных друг другу; семья Кольвилей не уступала им в численности, так что в иные воскресенья в гостиной Тюилье собиралось до тридцати человек. Хозяин дома возобновил знакомство с Сайарами, Бодуайе, Фалейксами — то были люди, пользовавшиеся почетом в квартале Плас-Руайяль, и они часто обедали у Тюилье.

Госпожа Кольвиль блистала среди женщин этого общества, а Минар-младший и математик Фельон были самыми выдающимися из мужчин; что же касается остальных посетителей салона Тюилье, людей без мысли и образования, вышедших из низов, то они являли собою самые нелепые типы мелкой буржуазии. Принято считать, будто каждый выскочка обладает хоть каким-нибудь достоинством, однако Минар был поистине мыльным пузырем. Обожая длинные и путаные фразы, принимая угодливость за учтивость, а готовые формулы — за признак ума, он изрекал пошлые истины с таким апломбом и легкостью, что это можно было счесть за красноречие. С его языка то и дело слетали такие ничего не значащие, но многозначительные слова, как «прогресс», «пар», «асфальт», «национальная гвардия», «порядок», «демократический элемент», «дух ассоциаций», «легальность», «движение и сопротивление», «устрашение», и окружающим казалось, что при каждом новом повороте в политике Минар сам придумывает все это, тогда как на самом деле он лишь пересказывал мысли, вычитанные им в газете. Жюльен Минар, молодой адвокат, страдал, слушая речи отца, не меньше, чем отец его страдал, слушая речи своей супруги. И в самом деле, разбогатев, Зели с каждым днем высказывала все больше претензий, но так и не научилась правильно говорить по-французски; к старости она растолстела и походила на кухарку, вышедшую замуж за своего хозяина.

Фельон — образцовый мелкий буржуа — обладал множеством добродетелей и смешных черт. Всю свою жизнь он проработал в канцеляриях и, как человек подчиненный, уважал людей вышестоящих. Поэтому в присутствии Минара он и рта не раскрывал. Фельон великолепно перенес трудности критического возраста чиновника, отставка не повлияла на него, и вот почему. Дело в том, что этот достойный и превосходный человек никогда не мог себе позволить жить по своему вкусу. Он искренне любил Париж и с большим интересом наблюдал, как выпрямляются и украшаются улицы города, старик был способен часами смотреть, как сносят дом. Нередко можно было встретить его на улице, он стоял как вкопанный, задрав голову и наблюдая, как каменщик ломом расшатывает камень на верхушке стены; Фельон не трогался с места до тех пор, пока камень не падал, когда же камень, наконец, оказывался на земле, он удалялся, не менее счастливый, чем академик, ставший свидетелем падения романтической драмы. Истинные статисты великой социальной комедии, Фельон, Лодижуа и им подобные исполняют в ней функции античного хора. Они плачут, когда надо плакать, смеются, когда надо смеяться, и без устали откликаются на невзгоды и радости общественной жизни: в своем углу они торжественно отмечают победы, одержанные в Алжире, Константине, Лиссабоне, Уллоа, одинаково горько оплакивают смерть Наполеона, зловещие катастрофы у стен монастыря Сен-Мерри и на улице Транснонен[[30]](#footnote-30), сожалеют о смерти великих людей, им совершенно неизвестных. Для Фельона характерно своеобразное двуличие: он умудряется разделять и точку зрения оппозиции и точку зрения правительства. Когда на улицах Парижа завязывались схватки, у Фельона хватало мужества открыто высказывать перед соседями свою точку зрения; он отправлялся на площадь Сен-Мишель и, жалея правительство, исполнял свой долг. Все время, пока продолжалось брожение, он поддерживал династию, которую привел к власти Июль[[31]](#footnote-31); но как только начинались политические процессы, Фельон вставал на сторону обвиняемых. Кое-кто, пожалуй, назовет Фельона *флюгером*, но присущая ему изменчивость мнений весьма невинна и определяется его политическими взглядами; огромную роль в его воззрениях играет северный колосс, это воплощение английского материализма. Как и для старой газеты «Конститюсьонель», Англия для Фельона — нечто двойственное: она поочередно выступает то в качестве коварного Альбиона, то в качестве образцовой страны. Англия коварна, когда дело идет об интересах обиженной Франции и о Наполеоне; она становится образцовой страной, едва речь заходит об ошибках французского правительства. Как и его газета, Фельон принимает демократический элемент и отказывается, едва об этом заходит речь, от какого бы то ни было соглашения с республиканским духом. Республиканский дух для него — это 1793 год, мятеж, террор, аграрный закон. Демократический элемент — это развитие мелкой буржуазии, это царство самого Фельона.

Сей уважаемый старец — человек вполне почтенный, добропорядочность определяет всю его жизнь. Он достойно воспитал своих детей и остался прекрасным отцом в их глазах, он добивается того, чтобы дома его уважали так, как он сам уважает власть и вышестоящих. Он никогда не делал долгов. Заседая в суде присяжных, он, не жалея сил, следит за ходом процесса, не позволяя себе улыбнуться даже тогда, когда смеются и судья, и публика, и даже представитель государственного обвинения. Он необыкновенно услужлив и готов посвятить вам и свои заботы и время — все, за исключением денег. Фельон боготворил своего сына Феликса — преподавателя математики, он полагал, что молодой человек способен когда-нибудь стать членом Академии наук.

Тюилье занимал промежуточное положение между самоуверенным ничтожеством Минаром и бесхитростным глупцом Фельоном, однако он походил на них обоих в силу своего унылого жизненного опыта. Он скрывал пустоту ума под банальными фразами, подобно тому как прикрывал желтую кожу черепа жидкими прядями седых волос, в чем, безусловно, сказывалось удивительное искусство его парикмахера.

— Избери я любую другую карьеру, — любил говорить Тюилье, — я бы, конечно, добился большего.

По его словам, возможные в теории благодетельные реформы оказывались невозможными на практике, все начинания приводили к противоположным результатам; он не уставал рассказывать о различных несправедливостях, об интригах, о пресловутом деле Рабурдена[[32]](#footnote-32).

— После этого, — прибавлял Тюилье, — можно с одинаковым успехом верить во все и не верить ни во что. Ах, правительственные учреждения — нелепая вещь, и я счастлив, что у меня нет сына. Вдруг бы он вздумал избрать себе карьеру чиновника!

Кольвиль, как всегда, сохранял веселое расположение духа, то был кругленький, добродушный мужчина, постоянно шутивший, с неизменным интересом составлявший анаграммы, вечно чем-то занятый — словом, типичный буржуа, довольный самим собой, человек не без способностей, но так и не добившийся успеха, упорный труженик, так, собственно, ничего и не достигший, но умеющий принимать судьбу с веселой шуткой на устах, неглупый, но недалекий, одаренный, но не даровитый, ибо, будучи прекрасным музыкантом, он теперь играл только для дочери.

Салон Тюилье походил на любой провинциальный салон, но только он был озарен отблесками немеркнущего парижского зарева: заурядные плоские разговоры, которые велись в нем, все же носили на себе печать века. Слова и вещи, входившие в моду, ибо в Париже слово и вещь неотделимы друг от друга, как лошадь и всадник, попадали сюда, словно рикошетом. Гости неизменно ожидали появления господина Минара для того, чтобы узнать правду о важнейших событиях. Дамы держали сторону иезуитов[[33]](#footnote-33), мужчины защищали Университет; впрочем, женщины большей частью молчали. Человек умный, если бы он, победив скуку, провел тут несколько вечеров, хохотал бы во все горло, как во время представления комедии Мольера, ибо в результате нескончаемых споров он узнал бы приблизительно следующее:

«Можно ли было бы избежать революции 1789 года? Займы Людовика Четырнадцатого положили ей начало. Людовик Пятнадцатый, эгоист, человек церемонный, который сказал: «Будь я начальником полиции, я бы запретил кабриолеты», распутный король — ведь вы, конечно, слыхали о его Оленьем парке[[34]](#footnote-34)! — во многом способствовал ее возникновению. Господин де Неккер[[35]](#footnote-35), злонамеренный женевец, дал ей последний толчок. Иностранцы всегда питали неприязнь к Франции. Ну, мы еще увидим войну против вельмож... Максимум[[36]](#footnote-36) принес большой вред революции. С юридической точки зрения Людовика Шестнадцатого не следовало осуждать, суд присяжных оправдал бы его. Бонапарт позволил себе стрелять в парижан, и эта дерзость сошла ему с рук. Луи-Филипп опирался на его пример. В чем причина падения Карла Десятого? Наполеон — великий человек, некоторые подробности из жизни императора, свидетельствующие о его гениальности, напоминают анекдоты: он брал по пять понюшек табаку в минуту, а табак держал в кожаных карманах, пришитых к жилету. Он сам проверял счета поставщиков и отправлялся на улицу Сен-Дени, чтобы узнать цены на товары. Тальма был ему другом, этот великий артист обучал Наполеона царственным жестам, и тем не менее император всю жизнь отказывался даровать Тальма орден. Наполеон заменил на посту уснувшего часового, чтобы спасти беднягу от расстрела. Вот почему солдаты обожали его. Людовик Восемнадцатый, человек, не лишенный ума, несправедливо судил о нем и упорно именовал его господином де Буонапарте. Главный недостаток нынешнего правительства состоит в том, что оно позволяет другим вести себя, между тем оно должно само вести других за собой. Правительство слишком мало себя ценит! Он, Минар, боится людей энергических; следовало бы разорвать договоры тысяча восемьсот пятнадцатого года[[37]](#footnote-37) и потребовать у Европы возвращения Рейна. Когда, наконец, прекратится министерская игра, во время которой одни и те же люди образуют новые правительства?»

— Ну, довольно шевелить мозгами, — обычно обрывала мадемуазель Тюилье спорщиков. — Алтарь воздвигнут, пора садиться за игру.

Этой фразой старая дева разом прекращала дискуссию, изрядно надоедавшую дамам.

Если все эти предварительные факты, все эти общие положения не показались читателю достаточно убедительными и не помогли ему мысленно нарисовать раму для настоящей Сцены, не помогли составить представление об описанном нами обществе, этому, пожалуй, поможет сама драма. Заметим только, что сделанный нами набросок отличается воистину исторической точностью и рисует нравы важнейшего социального слоя, особенно если не упускать из виду, что вся политическая система младшей королевской ветви Бурбонов опирается на него.

Зима 1839 года была в некоторых отношениях тем периодом, когда салон Тюилье находился в зените славы. Минары бывали здесь каждое воскресенье, а в другие дни, даже будучи приглашены куда-нибудь, заезжали сюда на часок; чаще всего Минар, отправляясь в гости с дочерью и старшим сыном-адвокатом, оставлял у Тюилье свою жену. Подобная настойчивость объяснялась несколько запоздалым свиданием между господами Метивье, Барбе и Минаром; встреча эта произошла однажды вечером, когда два самых солидных жильца Тюилье задержались дольше обычного, чтобы побеседовать с мадемуазель Тюилье. Минар узнал от Барбе, что старая дева принимает от него приблизительно на тридцать тысяч франков векселей сроком на пять-шесть месяцев из расчета семь с половиной процентов годовых и что она берет векселя на такую же сумму у Метивье; отсюда, по его словам, следовало, что почтенная особа владеет состоянием по меньшей мере в сто восемьдесят тысяч франков

— Я учитываю векселя книгопродавцев из двенадцати процентов годовых и принимаю только те, которые имеют надежное обеспечение. И для меня это очень удобно, — закончил Барбе. — Я утверждаю, что у нее не меньше ста восьмидесяти тысяч франков, ибо она выдает векселя от своего имени на Французский банк сроком на три месяца.

— Стало быть, у нее есть счет в банке? — осведомился Минар.

— Еще бы! — воскликнул Барбе.

Благодаря своим связям с управляющим Французским банком Минар узнал, что у мадемуазель Тюилье действительно имелся текущий счет приблизительно на двести тысяч франков, гарантированный сорока акциями этого банка. Но эта гарантия, прибавил управляющий, была излишней, ибо банк с полным уважением и доверием относится к особе, ведающей делами Селесты Ланпрэн, дочери одного из бывших служащих банка, который проработал в нем ровно столько лет, сколько существовал сам банк. К тому же мадемуазель Тюилье за двадцать лет ни разу не превысила размер кредита, которым она пользовалась. Каждый месяц она неизменно присылала векселя на шестьдесят тысяч франков, обычно сроком на три месяца, что требовало обеспечения приблизительно в сто шестьдесят тысяч франков. Ее акции, лежавшие в банке, составляли сумму в сто двадцать тысяч франков, и, таким образом, банк ничем не рисковал, ибо векселя в любую минуту можно было реализовать за шестьдесят тысяч франков.

— Так что, — закончил управляющий банком, — если бы она прислала нам когда-нибудь векселя сразу на сумму сто тысяч франков, мы бы их приняли. Ведь ей принадлежит также дом, он нигде не заложен и стоит больше ста тысяч франков. К тому же все эти векселя попадают к ней от Барбе и Метивье, а банк получает их за четырьмя подписями, включая подпись самой мадемуазель Тюилье.

— Для чего мадемуазель Тюилье проделывает все эти операции? — спросил Минар у Метивье.

— О, без сомнения, для того, чтобы увеличить состояние Селесты.

— Но в таком случае Селеста — выгодная партия для вас, — обронил Минар.

— О, нет! — возразил Метивье. — Уж лучше я женюсь на одной из кузин, мой дядюшка посвятил меня в свои дела, у него сто тысяч франков ренты и всего две дочери.

Как ни была скрытна мадемуазель Тюилье, никому, даже брату, не говорившая о том, куда она помещает деньги, как ни трудно было определить размер ее личного капитала, ибо она присоединила к нему некоторые сбережения, сделанные за счет состояния г-жи Тюилье, все же кое-какие лучи света проникли сквозь густой мрак, окутывавший ее сокровище.

Дюток, часто видевшийся с Барбе, на которого он походил и характером и лицом, более точно, чем Минар, определил размер сбережений семьи Тюилье: по его мнению, они составляли в 1838 году полтораста тысяч франков, и писец тайно следил за ростом этого состояния, подсчитывая барыши старой девы с помощью столь сведущего дисконтера, каким был Барбе.

— Селеста получит от нас двести тысяч франков наличными, — доверительно сообщила старая дева Барбе, — а госпожа Тюилье намерена при подписании брачного контракта ввести ее во владение своим имуществом. Что до меня, то мое завещание сделано. Брат будет пользоваться при жизни всем состоянием, но в конечном счете его унаследует Селеста. Своим душеприказчиком я избрала моего нотариуса господина Кардо.

Мадемуазель Тюилье к этому времени побудила брата возобновить его старинные связи с Сайарами, Бодуайе, Фалейксами — людьми, занимавшими в квартале Сент-Антуан, где господин Сайар был мэром, приблизительно такое же положение, какое занимали в своем квартале Тюилье и Минары. Нотариус Кардо также ввел в дом Тюилье жениха для Селесты в лице мэтра Годешаля, поверенного, купившего у Дервиля его контору, способного человека лет тридцати шести; Годешаль заплатил сто тысяч франков за дело, и двести тысяч франков приданого помогли бы ему разделаться с долгами. Минар ловким ходом устранил Годешаля, шепнув мадемуазель Тюилье, что если Селеста выйдет замуж за этого стряпчего, то ее невесткой окажется знаменитая актриса оперы Мариетта.

— Она сама вышла из актерской семьи, — вставил Кольвиль, намекая на происхождение своей жены, — и вовсе не для того, чтобы вновь оказаться в среде актеров.

— К тому же господин Годешаль слишком стар для Селесты, — заметила Бригитта.

— Помимо всего прочего, — робко вставила г-жа Тюилье, — почему бы не дать девочке возможность выбрать себе мужа по душе, чтобы она была с ним счастлива?

Бедная женщина заметила в сердце Феликса Фельона истинную любовь к Селесте, такую любовь, о какой женщина, раздавленная Бригиттой и глубоко оскорбленная безразличием Тюилье, уделявшего супруге меньше внимания, чем служанке, могла только мечтать. То была любовь пылкая, но не решавшаяся заявить о себе открыто, любовь стойкая и вместе с тем боязливая, скрытая от всех, но распускающаяся пышным цветом в глубине человеческого сердца. Феликсу Фельону исполнилось двадцать три года, это был мягкий и чистый юноша, именно такой, какими бывают ученые, посвятившие себя занятиям чистой наукой. Его заботливо воспитал отец, который все принимал всерьез и старался подавать сыну хороший пример, сопровождая его избитыми рассуждениями. Феликс был среднего роста; светло-каштановые волосы, серые глаза, прелестный голос, спокойные манеры — все производило приятное впечатление, которого не портила даже веснушчатая кожа; вид у него был мечтательный, разговаривая, он не жестикулировал, тщательно взвешивал слова, никому не противоречил, и сразу становилось понятно, что человек этот не способен ни на корыстную мысль, ни на низкий расчет.

«Именно таким я хотела бы видеть своего мужа!» — часто говорила себе г-жа Тюилье.

В середине зимы 1839—1840 года, в феврале месяце, в гостиной Тюилье находились различные люди, чьи беглые портреты мы только что набросали. Приближался конец месяца, Барбе и Метивье, рассчитывавшие попросить по тридцать тысяч франков у мадемуазель Бригитты, играли в вист с господами Минаром и Фельоном. За соседним столом устроились Жюльен-адвокат (так прозвал молодого Минара Кольвиль), г-жа Кольвиль, г-н Барниоль и г-жа Фельон. За игрой в бульот, в которой фишка стоила одно су, сидели г-жа Минар, не умевшая играть ни во что другое, отец и сын Кольвили, старик Сайар и его зять Бодуайе; запасными игроками были Лодижуа и Дюток. Жены Бодуайе, Лодижуа и Барниоля составили вместе с мадемуазель Минар партию в бостон, Селеста сидела рядом со своей подружкой — Прюдансой Минар, Феликс Фельон беседовал с г-жой Тюилье, не сводя глаз с Селесты.

По другую сторону камина восседала в глубоком кресле королева Елизавета этого семейного очага[[38]](#footnote-38) — мадемуазель Бригитта, одетая так же просто, как и тридцать лет назад, ибо благоденствие не могло заставить эту женщину расстаться со своими привычками. На ее тронутых сединой волосах красовался чепец из черного газа, увенчанный букетиками герани сорта «Карл X»; платье с шемизеткой цвета коринки стоило пятнадцать франков, вышитый воротник был куплен за шесть франков: он едва прикрывал глубокую борозду, образованную шейными мускулами, соединявшими голову с позвоночником. Даже у Монвеля, игравшего старика Августа, профиль был не столь суров, как у этой самодержавной властительницы, собственноручно вязавшей носки для брата. Перед камином стоял сам Тюилье, готовый, в случае надобности, встретить запоздавшего гостя; рядом с ним находился молодой человек, чье появление произвело огромный эффект: несколько минут назад привратник, надевавший по воскресеньям великолепную ливрею, объявил о приходе г-на Оливье Винэ.

Причиной этого неожиданного визита была доверительная беседа между нотариусом Кардо и прославленным генеральным прокурором, отцом молодого судейского чиновника. Оливье Винэ только недавно был переведен из суда города Арси в суд департамента Сены на должность помощника королевского прокурора. Нотариус Кардо пригласил к себе на обед Тюилье, на этом обеде в качестве почетного гостя присутствовал со своим сыном генеральный прокурор, которому, по всей видимости, предстояло сделаться министром юстиции. По мнению Кардо, общий размер состояния, которое должна была унаследовать Селеста Кольвиль, составлял к тому времени по меньшей мере семьсот тысяч франков. Винэ-сын, казалось, был очарован разрешением приходить каждое воскресенье к Тюилье. Большое приданое служит в наши дни источником больших глупостей, которые люди совершают без всякого стыда.

Прошло минут десять, и другой молодой человек, беседовавший с Тюилье перед приходом помощника прокурора, возвысил голос и завязал бурный политический спор, заставив юного представителя судебного ведомства последовать его примеру и принять оживленное участие в дискуссии. Речь шла о голосовании, в результате которого палата депутатов добилась отставки правительства 12 мая, отказавшись утвердить дотацию для герцога Немурского.

— Конечно же, я далек от того, чтобы поддерживать правительственную политику, — говорил молодой человек, — я далек от того, чтобы одобрять приход буржуазии к власти. У буржуазии не больше прав представлять все государство, чем было в свое время у аристократии. Но, так или иначе, французская буржуазия взяла на себя обязанность основать новую династию, новую королевскую власть для самой себя, — и вот как ныне она с нею обращается! Когда народ позволил Наполеону возвыситься, то сотворил из него нечто великолепное, монументальное, он гордился величием Наполеона и великодушно отдавал свою кровь и свои силы, чтобы воздвигнуть здание Империи. В сравнении с великолепием аристократического трона и пурпурной императорской мантии, в сравнении с грандами и народом буржуазия выглядит особенно мелкой; она низводит власть до своего уровня, вместо того, чтобы попытаться самой возвыситься до уровня этой власти. Привыкнув к грошовой экономии в своих лавках, она предписывает ее своим королям и властителям. Но ведь то, что может почитаться добродетелью в торговле, оборачивается ошибкой и даже преступлением в высшей политике. Я бы очень многого хотел для народа, но не стал бы урезáть на десять миллионов цивильный лист[[39]](#footnote-39). Буржуазия, которая стала ныне во Франции почти всем, обязана даровать счастье народу, окружить короля блеском, пусть даже без излишней роскоши, уничтожить привилегии, не унижая величия страны.

Отец Оливье Винэ был одним из руководящих деятелей правительственной коалиции: однако мантия хранителя печати, о которой он давно мечтал, все еще оказывалась для него недостижимой. Вот почему молодой помощник прокурора не знал, что ответить; в конце концов он решил в какой-то мере согласиться с собеседником.

— Вы правы, сударь, — заявил Винэ. — Однако, прежде чем щеголять, буржуазия должна выполнить свои обязанности перед Францией. Да, сначала обязанности, а уж затем роскошь, о которой вы толкуете. То, что вам кажется столь достойным упрека, в настоящее время просто необходимо. Палата депутатов не играет должной роли в делах, министры служат не столько Франции, сколько короне, и парламент пожелал, чтобы французское правительство, по примеру Англии, стало его орудием на деле, а не на словах. В тот день, когда правительство станет действовать самостоятельно и будет представлять в качестве исполнительной власти Палату депутатов, подобно тому, как сама Палата представляет страну, парламент начнет весьма либерально относиться к короне. В этом суть вопроса, я просто излагаю ее, не высказывая собственного мнения, ибо занимаемый мною пост обязывает меня сохранять в области политики полную верность короне.

— Речь идет не только о политике, — возразил молодой человек, чье произношение выдавало уроженца Прованса, — надо сказать, что буржуазия вообще дурно поняла свою миссию: мы нередко встречаем генеральных прокуроров, председателей суда, пэров Франции в омнибусах, судьи живут на свое жалованье, префекты не имеют состояний, министры погрязли в долгах. Между тем, получая все эти места, буржуазия должна была бы окружать их почетом, подобно тому, как это некогда делала аристократия; должностным лицам следовало бы не сколачивать себе состояния, как это выявилось во время недавних скандальных процессов, а тратить собственные доходы ради лучшего отправления обязанностей...

«Кто этот молодой человек? — спрашивал себя Оливье Винэ, — может быть, родственник хозяина дома? Кардо следовало бы прийти сюда в первый раз вместе со мною».

— Кто этот юноша? — в свою очередь, спросил Минар у господина Барбе. — Я уже не в первый раз вижу его здесь.

— Жилец, — ответил Метивье, сдавая карты.

— Адвокат, — прибавил вполголоса Барбе. — Он занимает небольшую квартирку на четвертом этаже, с окнами на улицу... О, человек малозначительный и совершенно без средств.

— Как зовут этого молодого человека? — осведомился Оливье Винэ у г-на Тюилье.

— Теодоз де ла Перад, он не так давно стал адвокатом, — прошептал Тюилье на ухо помощнику прокурора.

В эту минуту женщины, которые, как и мужчины, внимательно смотрели на молодых людей, переглянулись, и г-жа Минар, не удержавшись, сказала Кольвилю:

— Как он хорош собой, этот юноша.

— Я составил анаграмму, — ответил отец Селесты. — Его имя и фамилия — ведь полностью его зовут Шарль-Мари-Теодоз де ла Перад — предрекают следующее: *«Ишь, мародер! Зол и делает парад!»* Так что, милая моя госпожа Минар, остерегитесь выдавать за него свою дочь.

— Вот молодой человек, которого находят более красивым, чем мой сын, — сказала г-жа Фельон г-же Кольвиль. — Что вы по этому поводу думаете?

— О, что касается внешности двух этих молодых людей, то тут женщина заколебалась бы, прежде чем сделать выбор, — ответила г-жа Кольвиль.

В эту минуту молодой Винэ, окинув взглядом гостиную, в которой собралось столько мелких буржуа, счел, что поступит очень тонко, если начнет превозносить буржуазию; он подхватил слова молодого адвоката из Прованса и принялся утверждать, будто люди, облеченные доверием правительства, должны подражать королю, чья роскошь оставила далеко позади роскошь прежних монархов; не удовольствовавшись этим, Винэ заявил, что делать сбережения из получаемого жалованья просто глупо, к тому же это даже невозможно, особенно в Париже, где жизнь вздорожала чуть ли не в три раза, где судейскому чиновнику, к примеру, приходится платить за свою квартиру тысячу экю!..

— Отец, — сказал он в заключение, — дает мне ежегодно тысячу экю, и этих денег вместе с моим жалованьем едва хватает на то, чтобы жить сообразно занимаемому мною положению.

Когда помощник прокурора вступил на зыбкую стезю, к которой его так ловко подвел собеседник, коварный провансалец незаметно обменялся взглядом с Дютоком, дожидавшимся своей очереди войти в карточную игру.

— В Париже отмечается такая острая нужда в должностях, — заметил письмоводитель, — что поговаривают о создании двух мировых судов в каждом округе с тем, чтобы открыть еще двенадцать канцелярий... Как будто можно посягнуть на наши права, на эти места, за которые платят поистине бешеные деньги!

— Я еще не имел удовольствия слышать ваши речи во Дворце Правосудия, — обратился помощник прокурора к г-ну де ла Пераду.

— Я адвокат бедняков и выступаю лишь в мировом суде, — ответил провансалец.

Слушая рассуждения молодого судейского чиновника о том, что должностным лицам следует проживать свои доходы, мадемуазель Тюилье приняла чопорный вид, значение которого было хорошо известно и молодому провансальцу и Дютоку. Винэ-младший покинул салон вместе с Минаром и Жюльеном-адвокатом; таким образом, поле битвы возле камина осталось за молодым де ла Перадом и Дютоком.

— Чиновная буржуазия, — заявил Дюток, обращаясь к Тюилье, — начинает вести себя так, как некогда вела себя аристократия. Дворяне норовили жениться на дочерях из богатых семейств, чтобы таким способом унаваживать свои земли, нынешние выскочки охотятся за приданым, чтобы подправить свои дела.

— Именно это господин Тюилье говорил мне нынче утром, — дерзко заявил провансалец.

— Винэ-старший женился на некоей барышне де Шаржбеф, — продолжал Дюток, — от нее-то он и понабрался дворянских привычек. Ему во что бы то ни стало нужно состояние, жена его живет на княжескую ногу.

— Ну, лишите этих людей должностей, — сказал Тюилье, который, как истый буржуа, завидовал своим ближним, — и они быстро окажутся на мели...

Мадемуазель Тюилье вязала с такой молниеносной быстротой, что казалось, будто работает паровая машина.

— Ваш черед, господин Дюток, — заявила г-жа Минар, вставая. — У меня ноги застыли, — прибавила она, направляясь к камину.

При этом золотые побрякушки на ее тюрбане засверкали, как бенгальские огни при бликах свечей «звезда», которыми тщетно пытались осветить огромную гостиную.

— Этому помощнику прокурора впору проповедовать в храме святого Луи! — заметила г-жа Минар, бросив взгляд на мадемуазель Тюилье.

— Вы хотите сказать — в храме святого Луидора! — подхватил провансалец. — Как это остроумно, сударыня...

— Госпожа Минар уже давно приучила нас к своим метким замечаниям, — вставил красавец Тюилье.

Госпожа Кольвиль внимательно смотрела на провансальца и невольно сравнивала его с молодым Фельоном: тот беседовал с Селестой, не обращая никакого внимания на все происходившее вокруг. Пожалуй, теперь самое время описать своеобразного человека, который был призван сыграть столь важную роль в жизни семьи Тюилье и который, конечно же, заслуживает имени великого артиста.

В Провансе, особенно в окрестностях Авиньона, встречается порода людей, далеко отстоящих от привычного типа южанина: обычно это блондины или шатены, с нежным цветом лица и кроткими глазами, чей взор покоен, безразличен или томен, в то время как у большинства южан взор, как правило, живой, пламенный и глубокий. Заметим, кстати, что на Корсике люди, подверженные бурным порывам, опаснейшим вспышкам гнева, чаще всего блондины, с виду совершенно спокойные. Самыми грозными в Провансе оказываются бледные, довольно полные мужчины с тусклыми светло-голубыми или светло-зелеными глазами. Шарль-Мари-Теодоз де ла Перад был великолепным образчиком этой породы людей, чья конституция заслуживает внимательнейшего изучения со стороны медицинской науки, философии и физиологии. Дело в том, что в них иногда происходит внезапное разлитие желчи, и отравленная горечью кровь кидается им в голову, подталкивая их на свирепые деяния, которые они на первый взгляд холодно обдумывают; на самом же деле их поступки — следствие внутреннего опьянения, хоть в это и не легко поверить, глядя на их флегматическую внешность, встречаясь с их спокойным, благодушным взором.

Молодой провансалец, родившийся неподалеку от Авиньона, был человек среднего роста, хорошо сложенный, довольно полный; трудно определить оттенок его кожи: ее нельзя назвать ни мертвенно бледной, ни матовой, ни розовой, своим цветом она напоминала желатин, и этот образ один только в силах дать представление об аморфной, бесцветной оболочке, под которой скрывались нервы, не столько крепкие, сколько способные при определенных обстоятельствах выдержать чудовищное напряжение. Взгляд его бледно-голубых холодных глаз обычно выражал обманчивую меланхолию, необыкновенно привлекающую женщин. Красивый лоб, казалось, дышал благородством и отлично гармонировал с тонкими, редкими светло-каштановыми волосами, которые от природы слегка завивались на концах. У него был нос охотничьей собаки: приплюснутый, раздвоенный на конце, любопытный, какой-то осмысленный и ищущий, вечно что-то вынюхивающий; нет, то не был добродушный нос, то был нос иронический и насмешливый. Но черты характера Теодоза были глубоко запрятаны, только тогда, когда молодой человек переставал наблюдать за собою и приходил в ярость, становились явными свойственный ему сарказм и ум, которыми были пронизаны его дьявольские шуточки. У него был приятно изогнутый рот, губы цвета граната, голос на среднем регистре звучал необыкновенно пленительно; Теодоз обычно старательно сдерживал раскаты своего голоса, который, если хозяин давал ему волю, звенел в ушах слушателей, как гонг. Впрочем, адвокат переходил на фальцет лишь в тех случаях, когда не помнил себя от гнева и нервы его не выдерживали. Его овальной формы лицо обычно ничего не выражало — так хорошо он умел им управлять. С этим истинно жреческим выражением лица находились в полном согласии сдержанные, благовоспитанные манеры, но в его обхождении было что-то уж слишком приветливое и навязчивое, чуть ли не льстивое, и такая манера вести себя невольно покоряла человека, особенно пока он находился в обществе Теодоза. Обаяние, имеющее своим источником человеческое сердце, оставляет в другом человеке глубокие следы, но обаяние, являющееся лишь следствием искусного умения вести себя, равно как и следствием красноречия, одерживает только преходящие победы: чтобы добиться цели, оно не гнушается никакими средствами. Но много ли встречается в частной жизни людей с философским складом ума, способных сравнивать и разбираться в таких тонкостях? Почти всегда, по народному выражению, люди заурядные разгадывают хитреца лишь тогда, когда он уже успел обвести их вокруг пальца!

Все в этом двадцатисемилетнем человеке находилось в соответствии с его истинным характером; следуя своему призванию, он занимался филантропией, то есть тем, чем может заниматься человек, считающий себя филантропом. Теодоз любил народ, ибо любить все человечество он был не в состоянии. Подобно садовникам, которые отдают свое сердце розам, георгинам, макам или пеларгонии и не уделяют никакого внимания остальным цветам, оставляющим их холодными, сей юный Ларошфуко-Лианкур[[40]](#footnote-40) всей душой сочувствовал работникам, пролетариям, беднякам предместий Сен-Жак и Сен-Марсо. Человек сильный, гений, попавший в безвыходное положение, стыдящийся своего разорения буржуа — все они с точки зрения Теодоза не могли претендовать на милосердие. Сердце всякого маньяка напоминает ящик с несколькими отделениями, в каждом из которых лежат различные сорта пилюль; девиз такого маньяка — suum cuique tribuere[[41]](#footnote-41), он строго дозирует свои обязанности. Встречаются филантропы, чье сердце трогают лишь заблуждения осужденных. Нет сомнения, что в основе филантропии лежит тщеславие, но у нашего молодого провансальца в основе всего лежал расчет, лицемерие, тщательно продуманная роль либерала и демократа, которую он играл с таким совершенством, что это вряд ли было бы по плечу даже великолепному артисту. Теодоз не обрушивался на богачей, он лишь отказывался их понимать, он видел себя вынужденным считаться с тем, что они существуют. По его мнению, каждому следовало пользоваться лишь плодами своих деяний; Теодоз некогда был, по его словам, пламенным учеником Сен-Симона[[42]](#footnote-42), но теперь относил это увлечение к ошибкам юности, ибо современное общество не могло зиждиться ни на чем ином, кроме права наследования. Убежденный католик, как и все уроженцы провинции Контá, он на заре отправлялся к обедне и тщательно скрывал от всех свое благочестие. Подобно всем филантропам, он отличался бережливостью, доходившей до скупости, и охотно отдавал беднякам свое время, советы, красноречие и даже деньги... но только те, которые ему удалось вырвать для них у богачей. Он носил сапоги до тех пор, пока подметки на них не стирались вконец, и не снимал своего костюма из черного сукна до тех пор, пока тот не начинал белеть на швах. Природа щедро одарила Теодоза: она не наградила его той тонкой и мужественной красотой южанина, которая глубоко задевает воображение других и порою требует от человека даже того, чего в нем нет; между тем Теодозу не стоило большого труда понравиться: он мог по собственному желанию показаться либо красавцем, либо человеком с весьма заурядной внешностью. Еще ни разу после своего водворения в доме Тюилье он не решался, как в тот вечер, поднять голос и держать себя с таким блеском, с каким он держал себя с Оливье Винэ; но, быть может, Теодоз де ла Перад счел, что ему пора уже попытаться выйти из безвестности, в которой он дотоле пребывал; кроме того, он полагал необходимым отделаться от молодого судейского чиновника, подобно тому, как Минары отделались до этого от Годешаля. Как и все возвышенные натуры, помощник прокурора, которому нельзя было отказать в возвышенном уме, был чужд низменных помыслов, свойственных миру буржуа. Поэтому он очертя голову устремился в невидимую ловушку, расставленную Теодозом с такой хитростью, что в нее попались бы люди даже более ловкие, чем Оливье Винэ, запутавшийся в ней, как муха в паутине.

Чтобы докончить портрет адвоката бедняков, будет небесполезно описать его первые шаги в доме Тюилье.

Теодоз обосновался там в конце 1837 года; к тому времени он уже пять лет изучал право, был лиценциатом и проходил стажировку в Париже, желая стать адвокатом; однако неизвестные обстоятельства, о которых он упорно молчал, помешали ему попасть в список адвокатов города Парижа, и Теодоз все еще оставался адвокатом-стажером. Поселившись в небольшой квартирке на четвертом этаже и обзаведясь мебелью, необходимой для его благородной профессии, ибо устав корпорации адвокатов не допускает приема нового сочлена, если тот не располагает должным образом обставленным кабинетом и юридической библиотекой (причем представители корпорации все проверяют на месте), Теодоз де ла Перад сделался адвокатом при Королевском суде в Париже.

Весь 1838 год ушел на хлопоты, связанные с переменой в его положении; молодой человек вел в высшей степени размеренный образ жизни. С утра и до обеда он работал дома и только иногда отправлялся во Дворец Правосудия, когда там слушались важные процессы. В ту пору он, по словам Дютока, упорно искал с ним сближения и в конце концов добился этого; Дюток направил к нему нескольких бедняков, живших в предместье Сен-Жак, и Теодоз из чистого милосердия защищал их в суде; согласно уставу корпорации поверенных, они обязаны поочередно вести тяжбы неимущих; поверенные передавали такого рода дела Теодозу, и он неизменно их выигрывал, так как брался лишь за те, которые сулили верный успех. Знакомство с поверенными помогло молодому человеку приобрести связи в среде адвокатов, где ценили его похвальное усердие, и в конце концов Теодоз был принят сначала в число адвокатов-стажеров, а затем — и в состав корпорации адвокатов. Произошло это в 1839 году; с тех пор он сделался адвокатом бедняков при мировом суде и неизменно оказывал покровительство людям из народа. Люди, облагодетельствованные им, не уставали выражать свою признательность и свое восхищение в присутствии привратников, а те, в свою очередь, рассказывали об этом домовладельцам. Вот почему члены семьи Тюилье, которым льстило, что у них в доме проживает человек столь сострадательный и пользующийся таким уважением, захотели залучить его в свой салон и принялись расспрашивать о нем Дютока. Письмоводитель отвечал так, как отвечают завистники. Воздавая должное молодому человеку, он заявил, что тот отличается необычайной скупостью.

— Однако скупость эта, быть может, — следствие бедности, — прибавил Дюток. — Впрочем, мне немало о нем известно. Он принадлежит к роду де ла Перадов, старинному роду из провинции Контá-Авиньон; в Париж он приехал, чтобы проведать дядю, который, по слухам, обладал значительным состоянием, в конце концов он разыскал квартиру своего дядюшки, но узнал, что тот умер за три дня до этого[[43]](#footnote-43), а все имущество пошло на уплату долгов и погашение расходов по похоронам. Один из друзей покойного дал сто луидоров бедному молодому человеку, обязав его изучать право и сделаться юристом. Эти сто луидоров позволили Теодозу просуществовать три года в Париже, причем он вел истинно монашеский образ жизни; однако бедный студент, которому так и не удалось больше встретиться со своим загадочным покровителем, впал к 1833 году в жестокую нужду — ведь шел уже четвертый год его пребывания в Париже.

Подобно всем прочим лиценциатам, он окунулся в политическую и литературную деятельность; это помогло ему некоторое время продержаться на поверхности, борясь с нищетой, ибо на помощь семьи бедняга не мог рассчитывать: его отец — младший брат дяди, скончавшегося в Париже, на улице Муано, с трудом кормил семейство, в котором было одиннадцать детей; родные Теодоза жили в крохотном поместье под названием «Канкоэль».

В конце концов он поступил в одну правительственную газету, редактором которой был знаменитый Серизе, снискавший себе славу преследованиями, выпавшими на его долю в годы Реставрации из-за его приверженности либералам; люди, представляющие ныне «новое левое крыло», не могут простить ему, что он примкнул к правительству, а так как в наши дни власти очень плохо защищают самых преданных своих сторонников, лучший пример чему — дело Жиске, то республиканцы в конечном счете разорили Серизе. Я говорю вам это для того, чтобы объяснить, каким образом он оказался на должности экспедитора в моей канцелярии.

Так вот, в те времена, когда Серизе еще процветал в качестве редактора газеты, которой министерство Перье[[44]](#footnote-44) пользовалось как орудием против различного рода поджигательских листков, вроде «Ла Трибюн» и тому подобных, он, будучи в конечном счете славным малым, хотя и слишком любившим женщин, хороший стол и удовольствия, оказался весьма полезен Теодозу, ведавшему в его газете отделом политики; так что, если бы не смерть Казимира Перье, наш молодой человек был бы, конечно, назначен помощником прокурора в Париже. В 1834—1835 годах Теодоз, несмотря на свои таланты, влачил довольно жалкое существование, ибо сотрудничество в правительственном органе сильно ему повредило. «Если бы не мои религиозные убеждения, — признался он мне однажды, — я бы бросился в Сену». В конце концов друг его дядюшки, как видно, проведал о горе молодого человека, и Теодоз снова получил малую толику денег, позволившую ему сделаться адвокатом; но он по-прежнему не знает ни имени, ни места жительства своего таинственного покровителя. Таким образом, принимая во внимание все эти обстоятельства, следует признать, что его бережливость вполне простительна, и Теодозу нельзя отказать в твердости характера, ибо он неизменно отказывается от тех приношений, которые пытаются ему делать бедняки, понимающие, что они выигрывают тяжбы только благодаря его бескорыстной преданности. Трудно без возмущения смотреть, как иные люди спекулируют на том, что обездоленные не в силах оплатить издержки по процессу, которые с них несправедливо взыскивают. О! Теодоз, конечно, добьется успеха, и я не удивлюсь, если этот молодой человек займет поистине блестящее положение. Ему присущи упорство, честность, мужество! Он неутомимо трудится, он работает, не разгибая спины.

Несмотря на то, что г-н де ла Перад был желанным гостем в салоне Тюилье, он поначалу редко появлялся там. Хозяева выговаривали ему, сетовали на его ненужную скромность, и он мало-помалу стал приходить чаще, а затем уже не пропускал ни одного воскресенья; его приглашали на все званые обеды, и он вскоре сделался чуть ли не домочадцем, так что, если Теодоз заходил на минутку побеседовать с Тюилье в четыре часа дня, его насильно усаживали за стол и требовали, чтобы он, отбросив церемонии, подкрепился *чем бог послал*. При этом мадемуазель Тюилье говорила себе:

«Так, по крайней мере, мы будем уверены, что бедный юноша не останется сегодня без обеда!»

Существует некое социальное явление, конечно же, не оставшееся незамеченным, но никем еще не сформулированное и, если угодно, не обнародованное, хотя оно и заслуживает всяческого внимания: мы имеем в виду то тяготение, которое испытывают люди, вышедшие из низов и достигшие определенного положения в обществе, к своим давним привычкам, шуточкам и манерам. Тюилье так же не остался чужд этому и под старость как бы вновь превратился в сына привратника; он охотно повторял излюбленные прибаутки своего отца, они поднимались из глубин его сознания, подобно тому, как тина поднимается со дна на поверхность водоема.

Раз пять или шесть в месяц, когда жирный суп был особенно вкусен, Тюилье, кладя ложку в опустевшую тарелку, произносил с таким видом, словно изрекал нечто новое, старую прибаутку своего отца: «Нет, это куда приятнее, чем пинок в зад!..» Когда Теодоз впервые услышал незнакомую ему шуточку, он утратил серьезность и от всего сердца расхохотался; искренняя веселость молодого человека чрезвычайно польстила самолюбию красавца Тюилье. В дальнейшем, всякий раз когда Тюилье повторял эту фразу, Теодоз неизменно встречал ее понимающей улыбкой. Мы упомянули об этой детали, чтобы читателю было понятнее, почему утром того самого дня, когда Теодоз схватился с молодым помощником прокурора, адвокат позволил себе сказать Тюилье, с которым он вышел в сад, чтобы посмотреть, не нанесли ли заморозки ущерб фруктовым деревьям:

— Сударь, вы куда более умны, чем полагаете!

На это последовал ответ:

— Избери я любую другую карьеру, мой милый Теодоз, я бы далеко пошел, но падение императора подкосило меня.

— Время еще не упущено, — возразил начинающий адвокат. — Кстати, за какие такие заслуги этот скоморох Кольвиль получил крест?

Де ла Перад, словно невзначай, прикоснулся к ране, которую Тюилье столь старательно скрывал, что даже его сестра ни о чем не подозревала; однако проницательный молодой человек, тщательно изучавший всех этих буржуа, угадал тайную зависть, точившую сердце бывшего помощника правителя канцелярии.

— Если вы, человек столь многоопытный, окажете мне честь и согласитесь руководствоваться моими советами, а главное, никогда и никому не говорить о нашем соглашении, даже вашей превосходной сестре, разве только я сам вам это разрешу, то я берусь добиться того, чтобы вас наградили орденом под приветственные возгласы всех обитателей квартала.

— О, если бы это только осуществилось! — воскликнул Тюилье. — Вы даже не подозреваете, до какой степени я был бы вам обязан...

Эта беседа объясняет, почему Тюилье принял в тот вечер столь чванный вид, когда Теодоз, не моргнув глазом, приписал ему собственные мысли.

В области искусства — а Мольер, пожалуй, возвысил лицемерие до уровня искусства, навсегда закрепив за Тартюфом славу неподражаемого актера, — существует степень совершенства, которую следует поставить выше таланта: с ней может сравниться лишь гениальность. Надо заметить, что между творением гениальным и творением просто талантливым существует сравнительно небольшая разница и одни только люди гениальные могут определить дистанцию, отделяющую Рафаэля от Корреджо или Тициана от Рубенса. Больше того, гению присуща черта, часто обманывающая толпу: творения, отмеченные печатью гения, на первый взгляд кажутся созданными без труда. Словом, гениальное произведение представляется неискушенному глазу почти обыденным — до такой степени оно естественно, даже если в нем толкуются наиболее возвышенные сюжеты. Сколько крестьянок держат своих младенцев точно так, как держит младенца знаменитая дрезденская мадонна!

И вот, высшая степень искусства для такого человека, как Теодоз, состоит в том, чтобы заставить людей позднее говорить: «Никто не мог бы против него устоять!» Бывая в салоне Тюилье, молодой адвокат улавливал малейшие проявления противоречий, он угадывал в Кольвиле человека проницательного — этот артист-неудачник обладал критическим складом ума. Теодоз знал, что не нравится Кольвилю: тот в силу обстоятельств, о которых здесь незачем упоминать, проникся в конце концов верой в пророческую силу своих анаграмм. Дело в том, что все они сбывались. Чиновники канцелярий немало потешались над Кольвилем, когда он, составив по их просьбе анаграмму на незадачливого Огюста-Жана-Франсуа Минара, получил следующую фразу: *«С нас — жир, нам — фортуна с юга!»* Но прошло десять лет, и пророчество осуществилось! Анаграмма, составленная Кольвилем на Теодоза, была полна рокового значения. Анаграмма на его собственную жену заставляла Кольвиля внутренне содрогаться, он никогда не оглашал ее, ибо из имен «Флавия Миноре Кольвиль» образовалась фраза: *«Коль я — лев, ее вина — миф и роль!»* Увы, бедняга отлично понимал, что он вовсе не похож на льва...

Теодоз несколько раз пытался расположить к себе жизнерадостного секретаря мэрии, но столкнулся с холодностью, неожиданной в этом, обыкновенно столь общительном человеке. Когда партия в бульот окончилась, Кольвиль увлек Тюилье в оконную нишу и сказал:

— Ты слишком много позволяешь этому адвокатишке, нынче вечером он направлял все разговоры в гостиной.

— Спасибо, друг мой, береженого и бог бережет, — ответил Тюилье, смеясь в душе над Кольвилем.

Теодоз разговаривал в это время с г-жой Кольвиль, не упуская из виду двух друзей; интуиция, которой чаще всего обладают женщины, безошибочно знающие, когда и что именно говорят о них в другом конце гостиной, помогла молодому человеку угадать, что Кольвиль пытается повредить ему, заронив семена сомнения в слабую голову недалекого Тюилье.

— Сударыня, — шепнул Теодоз на ухо прелестной святоше, — поверьте, что если здесь кто-нибудь способен оценить вас, то это я. Вы подобны жемчужине, упавшей в болото, вам всего сорок два года, ибо женщине столько лет, на сколько она выглядит, и много тридцатилетних женщин в сравнении с вами — ничто, они были бы счастливы обладать такой талией и таким величественным лицом, на котором внимательный взгляд может, однако, различить следы любви, так и не принесшей вам полного удовлетворения. Вы посвятили себя богу, я это знаю, и я слишком благочестив, а потому мечтаю стать лишь вашим другом и никем больше. Но вы посвятили себя господу именно потому, что так и не нашли человека, достойного вас. Словом, вас многие любили, но никогда еще вы не были предметом обожания, я это сразу угадал... Вон стоит ваш муж; он так и не сумел доставить вам положение, какого вы заслуживаете, он ненавидит меня, словно догадывается о моей любви к вам, и одним своим видом мешает мне сказать, что я, думается, нашел средство помочь вам проникнуть в те сферы, вращаться в которых вам назначено судьбой... Нет, сударыня, — сказал он громким голосом, вставая со своего места, — аббат Гондрен не будет служить в этом году на великий пост в нашей скромной церкви Сен-Жак дю О-Па, службу станет отправлять господин д'Эстиваль, мой земляк, посвящающий свои проповеди защите интересов бедных классов, и вам предстоит услышать одного из самых проникновенных проповедников, каких я только знаю. Если этот священник и не может похвалиться представительной внешностью, зато он обладает несравненной душой!..

— Стало быть, мои желания наконец-то исполнятся, — заметила несчастная г-жа Тюилье, — я никогда не понимала прославленных проповедников!

На сухих губах мадемуазель Тюилье появилась улыбка, улыбнулись и многие из гостей.

— Они слишком много времени уделяют теологическим доказательствам, я уже давно придерживаюсь этого мнения, — сказал Теодоз. — Впрочем, я никогда не говорю о религии, и если бы не госпожа де Кольвиль...

— Значит, существуют теологические доказательства? — простодушно и, можно сказать, в упор спросил преподаватель математики.

— Я не думаю, сударь, что вы серьезно задали этот вопрос! — воскликнул Теодоз, смерив взглядом Феликса Фельона.

— Мой сын, — вмешался старик Фельон, неуклюже спеша прийти на помощь Феликсу, ибо он уловил горестное выражение на бледном лице г-жи Тюилье, — мой сын рассматривает религию с двух точек зрения: с человеческой и с божественной, он различает то, что в ней от откровения, и то, что от разума.

— Какая ересь, милостивый государь! — вскричал Теодоз. — Религия едина и прежде всего требует от нас безотчетной веры.

Старик Фельон, словно пригвожденный этой фразой к стене, посмотрел на жену:

— Мой друг, нам пора... — И он указал на стенные часы.

— О господин Феликс, — прошептала Селеста на ухо простодушному математику, — разве нельзя быть, подобно Паскалю и Боссюэ, одновременно и ученым и благочестивым?..

Фельоны вышли гурьбой, уведя с собой и Кольвилей; вскоре в гостиной остались лишь Дюток, Теодоз и члены семьи Тюилье.

Льстивые речи, которые Теодоз обращал к Флавии, отличались тривиальностью; в интересах нашего повествования уместно заметить, что адвокат сознательно старался примениться к уровню окружавших его обывателей с недалеким умом; он придерживался известной поговорки: «С волками жить — по-волчьи выть». Вот почему его излюбленным художником был не Жозеф Бридо, а Пьер Грассу, а настольной книгой ему служила повесть «Павел и Виргиния»[[45]](#footnote-45). Самым великим поэтом современности он признавал Казимира Делавиня[[46]](#footnote-46), в его глазах предназначение искусства заключалось прежде всего в полезности. Теодоз утверждал, что Пармантье[[47]](#footnote-47), *творец картофеля*, стоит тридцати Рафаэлей, человек в коротком синем плаще[[48]](#footnote-48) представлялся ему *истинной сестрой милосердия*. Все это были выражения красавца Тюилье, и лукавый адвокат при случае повторял их.

— Этот юноша, Феликс Фельон, — подлинный представитель университетского образования нашего времени, характерное порождение науки, которая устранила бога. Господи! Куда мы идем? Только религия может спасти Францию, ибо лишь страх перед адом предохраняет нас от домашних краж, совершающихся чуть ли не каждый час в недрах семьи и разрушающих самые солидные состояния. В наши дни трудно встретить семью, где не велась бы междоусобная война.

Произнеся эту ловкую тираду, которая произвела сильное впечатление на Бригитту, Теодоз пожелал доброй ночи хозяевам и вышел в сопровождении Дютока.

— Вот молодой человек, полный достоинств! — наставительно заметил Тюилье.

— О, да! — подхватила Бригитта, гася лампы.

— К тому же он религиозен, — прибавила г-жа Тюилье, уходя к себе в комнату.

— Сударь, — говорил в это время Фельон Кольвилю, когда они подошли к Горному училищу и добряк убедился, что вокруг нет посторонних, — не в моих привычках навязывать свои мнения другим, но я не могу удержаться и не сказать вам, что этот молодой адвокат ведет себя все более развязно в доме наших друзей Тюилье.

— А я вам прямо скажу, — взорвался Кольвиль, шагавший рядом с Фельоном позади своей жены, Селесты и г-жи Фельон, которые шли, тесно прижавшись друг к другу, — он иезуит, а я не выношу людей такого сорта... Лучший среди них гроша ломаного не стоит. В моих глазах иезуит — это плут, причем плут, плутующий из любви к плутовству, чтобы, как говорится, набить себе руку в плутнях. Вот мое мнение, и я не намерен его скрывать...

— О, я вас отлично понимаю, сударь, — ответил Фельон, пожимая руку Кольвилю.

— Нет, господин Фельон, — вмешалась Флавия, обернувшись к мужчинам, — вы не понимаете Кольвиля, но я-то хорошо знаю, что он собирается сказать, и лучше будет, если он воздержится... Такого рода темы не обсуждают на улице, в одиннадцать часов вечера, да еще в присутствии молодой девушки.

— Ты права, женушка, — ответил Кольвиль.

Достигнув улицы Дез-Эглиз, где семейство Фельон должно было разойтись с Кольвилями, все принялись прощаться, и Феликс Фельон сказал Кольвилю:

— Сударь, ваш сын Франсуа, хорошенько подготовившись, мог бы поступить в Политехническую школу; если хотите, я охотно займусь с ним и подготовлю его к экзаменам еще в этом году.

— От такого рода предложений не отказываются! Благодарю, друг мой, — сказал Кольвиль. — Мы еще поговорим.

— Превосходно! — похвалил Фельон сына.

— Да, то был ловкий ход! — воскликнула мамаша Фельон.

— Что вы хотите сказать? — удивился Феликс.

— Только то, что ты обхаживаешь родителей Селесты.

— Пусть мне никогда не решить занимающей меня научной проблемы, если я думал об этом! — возмутился юный педагог. — Беседуя с сыновьями Кольвиля, я обнаружил у Франсуа склонность к математике и счел себя обязанным сказать его отцу...

— Превосходно, сын мой, — повторил Фельон, — именно таким я и мечтал тебя видеть. Мои желания сбылись, я нахожу в своем сыне воплощенную порядочность, честность, гражданские и человеческие добродетели и могу громогласно заявить: я доволен...

Когда Селеста ушла спать, г-жа Кольвиль сказала мужу:

— Кольвиль, никогда не осуждай так резко людей, которых недостаточно знаешь. Когда ты произносишь слово «иезуит», я понимаю, что ты думаешь о священниках. Так вот, будь любезен, храни при себе свои взгляды на религию всякий раз, когда рядом с тобою находится дочь. Мы вольны подвергать опасности собственные души, но не души наших детей. Неужели ты хотел бы, чтобы твоя дочь походила на какую-нибудь девицу без твердой веры?.. Не забывай, мой котик, что теперь мы зависим от каждого встречного и поперечного, мы должны заботиться о воспитании четверых детей, и можешь ли ты утверждать, что раньше или позже у тебя не возникнет необходимость в помощи того или иного человека? Поэтому не наживай себе врагов, ведь у тебя их нет, ты славный малый, и именно благодаря твоему покладистому характеру, который мне всегда так нравился и составляет твое очарование, мы до сих пор с успехом выходили из жизненных затруднений!..

— Довольно! Довольно! — взмолился Кольвиль, бросая фрак на спинку стула и развязывая галстук. — Я виноват, ты права, прелестная моя Флавия.

— При первом же удобном случае, мой ягненочек, — продолжала хитрая матрона, потрепав мужа по щеке, — ты постараешься самым учтивым образом побеседовать с нашим юным адвокатом. Это, несомненно, хитрец, и надобно привлечь его на свою сторону. Он ломает комедию?.. Ну, что ж, и ты ломай комедию: сделай вид, будто не замечаешь, как он тебя дурачит. А убедившись, что он человек талантливый и с будущим, постарайся сделать его своим другом. Не думаешь же ты, что я соглашусь на то, чтобы ты еще долго корпел в мэрии?

— Идите сюда, милостивая госпожа Кольвиль, — воскликнул, смеясь, бывший первый кларнет Комической оперы, похлопывая себя по колену и жестом приглашая жену, — давайте согреем ваши ножки и побеседуем... Нет, чем больше я на тебя гляжу, тем больше убеждаюсь в правоте людей, утверждающих, что молодость женщины определяется линией ее стана...

— И пылкостью ее сердца...

— И тем и другим, — подхватил Кольвиль. — Талия должна быть тонкой, а сердце — полным...

— Ты хочешь сказать: полным чувств, дуралей!..

— Но главное твое достоинство в том, что ты сумела сохранить белизну кожи и при этом даже не растолстела!.. Постой, постой... я прощупываю твои косточки... Знаешь, Флавия, если бы мне предстояло заново начать жизнь, я бы не пожелал иной жены, чем ты.

— Ты отлично знаешь, что и я всегда предпочитала тебя всем другим... Какая жалость, что его высокопреосвященство скончался! Знаешь, чего бы я хотела?

— Нет.

— Места для тебя в магистратуре Парижа, с жалованьем в двенадцать тысяч франков. Скажем, должность казначея в муниципальной кассе города или в Пуасси. Можно еще стать комиссионером.

— Все это мне подходит.

— Так вот, если этот чудище-адвокат окажется на что-нибудь способен... Он, должно быть, мастер плести интриги, надо держать его про запас... Я его прощупаю... Предоставь это мне, а главное, не мешай ему добиваться своих целей в доме Тюилье...

Теодоз затронул больное место в душе Флавии Кольвиль, и это обстоятельство заслуживает специального объяснения: оно, пожалуй, позволит многое понять в жизни женщин вообще.

К сорока годам всякая женщина, особенно та, что отведала от запретного плода страстей, испытывает священный ужас; она обнаруживает, что ей грозит двойная смерть: смерть тела и смерть души. Если принять широко бытующее в обществе разделение всех женщин на две большие категории — на добродетельных и порочных, — то позволено сказать, что и те и другие, достигнув этого рокового возраста, испытывают горестное, болезненное чувство. Женщины добродетельные, всю жизнь подавлявшие зов плоти, либо безропотно покоряясь судьбе, либо обуздывая мятежную страсть и скрывая ее в глубине сердца или у подножия алтаря, со страхом говорят себе, что для них все кончено. И мысль эта оказывает столь странное, воистину дьявольское влияние, что именно в нем лежат причины необъяснимых перемен в поведении некоторых женщин, перемен, поражающих родных и знакомых, приводящих их в ужас. Женщины порочные приходят в состояние, близкое к умоисступлению, которое, увы, нередко приводит их к помешательству, а порою и к смерти; иногда они становятся жертвой и впрямь демонических страстей.

Вот два возможных объяснения такого кризиса. Либо они познали счастье, привыкли к жизни, исполненной сладострастия, и не могут существовать, не дыша воздухом, напоенным лестью, не вращаясь в атмосфере, благоухающей фимиамом поклонения, не слыша комплиментов, ласкающих слух. Они не в силах от всего этого отказаться! Или же — что встречается куда реже, но тем более поражает — они всю жизнь искали убегавшее от них счастье, но обретали лишь утомительные удовольствия; в этой яростной погоне их поддерживало щекочущее нервы чувство удовлетворенного тщеславия, и они не могут бросить любовную игру, как игрок не может бросить колоду карт, ибо для таких женщин уходящая красота — последняя ставка в игре, где проигрыш влечет за собой безысходное отчаяние.

«Вас любили многие, но никогда еще вы не были предметом обожания!»

Эти слова Теодоза, сопровождавшиеся красноречивым взглядом, который читал не столько в ее сердце, сколько в ее прошлом, были ключом к загадке, и Флавия поняла, что молодой человек постиг ее тайные муки.

Между тем адвокат лишь повторял некоторые мысли, которые литература сделала банальными; однако имеет ли значение, кем и из какого материала изготовлен хлыст, коль скоро он больно хлещет породистую лошадь? Грохот, сопровождающий горный обвал, сам по себе не опасен, он лишь возвещает о нем, подобно этому опасна была не льстивая ода, обращенная к Флавии, а душевное состояние самой Флавии.

Молодой офицер, два фата, банкир, угловатый юноша и бедняга Кольвиль — вот и все, что знала в своей жизни эта женщина. Лишь однажды счастье было где-то рядом, но она не испытала его, ибо смерть поторопилась разрушить единственную страсть, которая таила очарование для Флавии. Вот уже два года, как она внимала голосу религии, и он внушал ей, что ни церковь, ни общество не сулят ни счастья, ни любви, но тем не менее требуют от людей исполнения долга и покорности; для двух этих могучих властителей счастье человека заключается в чувстве удовлетворения, которое приносит сознание исполненного долга, потребовавшего от него многих трудных усилий, а награда ожидает его лишь в ином мире. Но в глубине души Флавия слышала иной, требовательный голос; религия была для нее не следствием внутреннего обращения к богу, а лишь маской, которую она считала нужным носить и которую не снимала, видя в ней некое прибежище, ее набожность — истинная или притворная — была средством приобщиться к ожидавшему ее будущему; вот потому-то она не покидала церкви, уподобляясь путнику, который сидит на скамье у скрещения лесных тропинок и в ожидании ночи внимательно читает дорожный указатель, уповая, что случай пошлет ему проводника.

Вот почему ее любопытство было живо задето, когда Теодоз так верно определил ее внутреннее состояние, когда он заговорил о самых сокровенных ее чувствах и не для того, чтобы этим походя воспользоваться, а для того, чтобы пообещать ей воздвигнуть воздушный замок, который она уже семь или восемь раз безуспешно пыталась создать.

С начала зимы Теодоз тайком внимательно приглядывался к Флавии, изучал ее, проникал в душу этой женщины. Не раз она надевала в те месяцы платье из серого муара, отделанное черными кружевами, и шляпку с цветами, переплетенными кружевными лентами. Этот наряд был ей особенно к лицу, а мужчины отлично понимают, когда женщина наряжается ради них. Красавец времен Империи, несносный Тюилье осыпал ее льстивыми комплиментами, по его словам, она была подлинной королевой салона, но выразительный взгляд молодого провансальца говорил ей в тысячу раз больше.

Флавия каждое воскресенье ждала признания с его стороны, она твердила себе:

«Ведь он знает, что я обездолена, и продолжает хранить молчание! Неужели он и в самом деле благочестив?»

Теодоз не желал торопить событий; как опытный музыкант, он заранее наметил время, когда в исполняемой им симфонии должны зазвучать ударные инструменты. Увидев, что Кольвиль старается повредить ему во мнении Тюилье, адвокат дал залп из всех орудий, осмотрительно приготовленных им в те три или четыре месяца, которые он употребил на изучение характера Флавии. И полностью преуспел, подобно тому, как преуспел в то утро, беседуя с Тюилье.

Ложась в постель, Теодоз говорил себе:

«Супруга на моей стороне, муж с трудом меня терпит; в этот час они препираются, и я одержу верх, ибо она вертит им, как хочет».

Провансалец ошибся только в одном: никакого препирательства не было, Кольвиль сладко похрапывал рядом со своей дорогой крошкой Флавией, а она беззвучно шептала:

— Теодоз — необыкновенный человек.

Многие люди, подобно ла Пераду, слывут необыкновенными вследствие той дерзости или тех усилий, какие они вкладывают в задуманное ими дело; энергия, которую они выказывают, умножает их возможности, они поражают своей настойчивостью; позднее, когда такие люди добиваются успеха или терпят неудачу, окружающие с удивлением обнаруживают, что эти необыкновенные герои на поверку довольно мелки, ничтожны и немощны.

Заронив в умы двух людей, от которых зависела судьба Селесты, семена лихорадочного любопытства, Теодоз принялся разыгрывать роль весьма занятого человека. Пять или шесть дней подряд он с утра до вечера где-то пропадал; хитрец решил: он позволит Флавии увидеться с ним лишь тогда, когда желание достигнет в ней такой силы, что она уже перестанет считаться с приличиями; что касается старого красавца, то Теодоз хотел вынудить его прийти к нему.

Наступило воскресенье. Отправляясь в церковь, адвокат был почти уверен, что найдет там г-жу Кольвиль, и действительно, они одновременно вышли оттуда и встретились на углу улицы Дез-Эглиз; молодой человек предложил Флавии руку, она оперлась на нее, пропустив вперед дочь и Теодора. Младший сын Кольвилей, которому исполнилось двенадцать лет, должен был впоследствии поступить в семинарию, а пока что находился на половинном пансионе в учебном заведении Барниоля, где получал начальное образование; нечего и говорить, что зять Фельона взимал с него пониженную плату в предвидении брачного союза между математиком Фельоном и Селестой.

— Могу я льстить себя надеждой, что вы соблаговолили подумать о том, что я так неуклюже высказал вам в прошлое воскресенье? — вкрадчиво спросил адвокат у хорошенькой святоши, прижимая ее ручку к своей груди движением одновременно нежным и властным.

Всем своим видом Теодоз показывал, будто он скрепя сердце сдерживает порыв страсти, стремясь любой ценой сохранить почтение.

— Поймите правильно мои намерения, — продолжал он, встретив взгляд г-жи Кольвиль, свойственный лишь женщинам, привыкшим к любовной игре; такой взгляд может одинаково означать и глубокую досаду и скрытый призыв. — Я люблю вас, как любят всякое прекрасное существо, борющееся с несчастьем, ибо христианское милосердие простирает свою власть и на сильных и на слабых, его сокровище принадлежит всем. Вы так утонченны, изящны, элегантны, вы рождены, чтобы служить украшением высшего общества! Какой мужчина не испытает в душе глубочайшего сожаления, видя, что вам приходится вращаться в среде этих отвратительных буржуа, которые ничего в вас не понимают? Ведь они не способны даже оценить аристократизм ваших манер, величие вашего царственного взора, прелесть модуляций вашего голоса! Ах!.. Будь я богат! Обладай я властью, и ваш муж, этот славный малый, уже завтра получил бы пост генерального сборщика податей, а вы добились бы его избрания депутатом! Но я бедный честолюбец, обязанный скрывать свое честолюбие, ибо я нахожусь на нижней ступени общественной лестницы и пребываю в безвестности, подобно тому номеру лото, который так и остается на дне мешочка неназванным. Я могу предложить вам лишь руку вместо того, чтобы предложить сердце. Мне остается надеяться лишь на выгодную партию, и, поверьте, я не только сделаю свою жену счастливой, я помогу ей стать одной из первых дам Франции, ибо приданое поможет мне сделать карьеру... Какая чудесная погода, не хотите ли пройтись по Люксембургскому саду? — сказал он совсем другим тоном, когда они достигли улицы д'Анфер и поравнялись с домом г-жи Кольвиль, против которого возвышался небольшой особняк, последний обломок знаменитого монастыря картезианцев; пройдя двором этого домика, можно было по каменной лестнице спуститься прямо в сад.

Легкое пожатие нежной ручки послужило молчаливым ответом, но Теодоз понял, что Флавии будет приятно, если он сделает вид, будто применяет силу, и он быстро увлек ее за собой, проговорив:

— Пойдемте! Нам не скоро представится такой подходящий случай. Боже мой! — тут же воскликнул он. — Ваш муж смотрит на нас, он стоит у окна, замедлим шаги...

— Вам незачем бояться господина Кольвиля, — с улыбкой ответила Флавия, — он предоставляет мне полную свободу.

— О, вы действительно женщина, о которой я мечтаю! — вскричал провансалец в неистовом восторге, какой умеют выказывать одни только южане с их цветистым красноречием. — Простите, сударыня, — проговорил он, словно спохватываясь и возвращаясь из неземного мира страстей, и благоговейно посмотрел при этом на падшего ангела, — простите, я хочу продолжить прерванную мысль... Как может человек равнодушно взирать на горести, которые ему знакомы по собственному опыту, если эти горести являются уделом существа, чья жизнь должна быть сплошным радостным праздником!.. Ваши страдания — мои страдания, я так же обижен судьбою, как и вы, одинаковое горе нас роднит, делает братом и сестрой. Ах, драгоценная Флавия! Впервые мне дано было увидеть вас в последнее воскресенье сентября тысяча восемьсот тридцать восьмого года... Как вы были прекрасны! Я не раз вспоминал вас потом в этом миленьком платье из шерстяного муслина, напоминавшего своей расцветкой рисунок национального костюма уже не знаю какого шотландского клана!.. В тот день я сказал себе: «Почему эта женщина бывает в доме Тюилье и, главное, почему она находилась в близких отношениях с самим Тюилье?..»

— Однако, милостивый государь! — воскликнула Флавия, испуганная оборотом, какой провансалец быстро придал разговору.

— О, я все знаю! — воскликнул он, многозначительно пожимая при этом плечами. — Мне уже давно все понятно... И я уважаю вас ничуть не меньше. Полноте! Будь вы какой-нибудь дурнушкой или горбуньей и соверши при этом грех... Но теперь вы должны извлечь плоды из своей мимолетной ошибки, и я вам в том помогу! Селеста будет очень богата, отныне в ней заключено все ваше будущее, у вас может быть лишь один зять, значит, самое главное — сделать верный выбор. Честолюбец станет министром, глупец заставит краснеть за него, будет вам без конца надоедать, сделает вашу дочь несчастной, если он утратит состояние, то уже никогда не приобретет его вновь. Так вот, я вас люблю, — заключил он, — моя любовь, моя привязанность не имеет границ, вы способны подняться выше тех мелочных соображений, в которых запутываются глупцы. Мы должны понять друг друга...

Флавия была ошеломлена; тем не менее она не могла не воздать должное бесстрашной откровенности своего собеседника и невольно подумала: «Ну, уж этого-то человека скрытным не назовешь!..» В душе она отметила, что никто еще до такой степени не волновал ее и не задевал за живое, как молодой адвокат.

— Сударь, не знаю, кто создал у вас столь ложное представление о моей жизни и по какому праву вы...

— Ах, простите, сударыня, — ответил Теодоз холодным, исполненным презрения тоном, — а я-то мечтал... Я говорил себе: «В ней все это есть!» Оказывается, то было лишь внешнее впечатление. Отныне я знаю, почему вам суждено всю жизнь ютиться на пятом этаже в доме на улице д'Анфер.

И он сопроводил свою фразу энергическим жестом руки, указав на окна квартиры Кольвилей, которые были видны из широкой аллеи Люксембургского сада, где Флавия и Теодоз прогуливались в одиночестве, попирая ногами необозримое поле, где прогуливалось до них и впредь будет прогуливаться великое множество юных честолюбцев.

— Я был с вами откровенен и ожидал того же. Мне, сударыня, доводилось сидеть целые дни без куска хлеба. Я умудрился не только не умереть с голоду, но еще и изучить право, получить степень лиценциата в Париже, хотя весь мой капитал сводился к двум тысячам франков. Я приехал в столицу от самых границ Италии с пятьюстами франков в кармане, поклявшись, по примеру одного из моих земляков, стать в один прекрасный день знаменитым человеком, известным всей стране... Человек, нередко находивший себе пищу в корзинах, куда рестораторы выбрасывают объедки и которые они в шесть часов утра опорожняют у своих дверей после того, как мусорщики выберут оттуда лучшие куски... такой человек не отступит ни перед какими средствами... разумеется, дозволенными. Вы считаете меня другом народа?.. — спросил он, улыбаясь. — Надо же как-то добиваться известности, необходимо, чтобы о тебе говорили... Ведь талант без репутации — ничто! В свое время адвокат бедняков станет адвокатом богачей... Можно ли быть более откровенным? Откройте же и вы мне свое сердце... Скажите: «Будем друзьями», — и в один прекрасный день всем нам улыбнется счастье...

— Господи! Зачем я сюда пришла? Зачем я приняла вашу руку?.. — воскликнула Флавия.

— Да потому, что это было написано вам на роду! — ответил Теодоз. — О драгоценная и горячо любимая Флавия, — прибавил он, вновь прижимая ее ручку к своей труди, — неужели вы хотите, чтобы я говорил вам пошлые комплименты?.. Мы с вами брат и сестра... Вот и все.

И он повел ее к выходу из сада, откуда можно было попасть на улицу д'Анфер.

Флавия испытывала удовольствие, которое приносят женщинам сильные переживания, но к этому чувству примешивался страх, и она приняла его за тот внутренний трепет, какой рождает возникающая страсть; ей казалось, будто ее заворожили, и она шла в полном молчании.

— О чем вы думаете?.. — спросил Теодоз, когда они подходили к садовой ограде.

— О том, что вы мне только что сказали, — пролепетала она.

— Мне кажется, в нашем возрасте, — заметил он, — можно обойтись без пышных фраз, ведь мы не дети, и оба принадлежим к тому кругу, где люди хорошо понимают друг друга. Я хочу лишь одного, — прибавил он, когда они подошли к улице д'Анфер, — чтобы вы знали: я весь к вашим услугам...

И Теодоз изогнулся в глубоком поклоне.

«Ну, дело, видно, на мази!» — сказал он себе, провожая взглядом вконец растерявшуюся Флавию.

Возвратившись домой, Теодоз встретил на пороге человека, играющего в нашей истории роль глубоко скрытой пружины; его можно уподобить также погребенным под землей развалинам храма, на которых покоится фундамент дворца. Этот субъект, без сомнения, позвонил сначала у дверей ла Перада и, не дождавшись ответа, звонил теперь в квартиру Дютока; при взгляде на него адвокат вздрогнул, но тут же подавил дрожь, и по его внешнему виду нельзя было догадаться, как сильно он взволнован. Перед Теодозом стоял Серизе, о котором Дюток упомянул в разговоре с Тюилье, сказав, что тот служит экспедитором в канцелярии мирового судьи.

Серизе было всего тридцать девять лет, но на вид ему можно было дать все пятьдесят — так состарили этого человека жизненные передряги и пороки. На голове у него не сохранилось ни единого волоска, и сквозь неряшливый парик просвечивала желтоватая кожа черепа; впрочем, она сливалась с выцветшим от времени париком; бледное, обрюзгшее, изрезанное бесчисленными морщинами лицо казалось тем более отвратительным, что нос был глубоко разъеден, однако не настолько, чтобы его можно было заменить искусственным; от переносицы и до ноздрей нос Серизе оставался таким, каким его создала природа, болезнь, разрушив крылья носа, превратила ноздри в огромные дыры причудливой формы, и это делало речь Серизе гнусавой и неразборчивой. Глаза его, некогда голубые, выцвели затем вследствие всякого рода невзгод и в результате бессонных ночей, веки покраснели, взгляд был беспокойный, возбужденный, а порою в его взоре отражалась столь злобная душа, что он мог бы испугать даже судей и преступников, то есть людей, не знающих страха.

Беззубый рот, в котором торчало лишь несколько почерневших корней, производил устрашающее впечатление; на тонких, бескровных губах порою пенилась слюна. Серизе был небольшого роста, не столько сухощавый, сколько высохший, свое уродство он пытался сгладить костюмом, который, если и не был щегольским, то по крайней мере всегда находился в опрятном состоянии, хотя и свидетельствовал о бедности хозяина. Все в этом человеке было каким-то сомнительным — начиная от возраста и носа и кончая взглядом: ему можно было дать и сорок лет и шестьдесят; никто бы не решился определить, только ли входили в моду его синие полинялые, но хорошо сидевшие панталоны или их перестали носить еще в 1835 году. Изношенные сапоги, которые он чинил уже по меньшей мере три раза, были, однако, старательно начищены; сшитые из тонкой кожи, сапоги эти, быть может, некогда топтали министерские ковры. Побывавший во многих переделках сюртук со шнурами и с изрядно облупившимися металлическими пуговицами своим покроем напоминал о былой элегантности. Атласный воротник с галстуком весьма удачно скрывал белье, но сзади, в том месте, где виднелась металлическая застежка, он был порван, и атлас потускнел от помады, которой Серизе смазывал свой парик, пока тот был новым; жилет еще сохранил свежесть, но принадлежал он к числу тех жилетов, что подолгу лежат на полках торговца готовым платьем и идут по четыре франка за штуку. Костюм Серизе был тщательно вычищен, его чуть измятая шелковая шляпа блестела. Со всем нарядом вполне гармонировали черные перчатки, красовавшиеся на руках этого мелкого чиновника, чью прошлую жизнь мы перескажем в нескольких словах.

То был истинный гений зла; в ранней молодости дурные поступки неизменно сходили ему с рук, и, опьяненный первыми успехами, он и дальше продолжал плести низкие интриги, не выходя из рамок законности. Предав своего хозяина, он сделался владельцем типографии, затем подвергся осуждению в качестве редактора либеральной газеты; в годы Реставрации, живя в провинции, он сделался одним из жупелов королевского правительства, его именовали «злосчастным Серизе», подобно тому, как Шове именовали «злосчастным Шове», а Мерсье — «героическим Мерсье». Своей репутации патриота Серизе был обязан местом супрефекта, которое он получил в 1830 году; полгода спустя он был смещен; Серизе столько кричал на всех перекрестках, будто его осудили, даже не выслушав, что, когда к власти пришло правительство Казимира Перье, несчастный поборник истины был назначен редактором газеты, выходившей на деньги правительства и боровшейся против республиканцев. Серизе ушел из газеты, чтобы заняться коммерцией, в числе его многочисленных афер было получившее печальную известность коммандитное товарищество[[49]](#footnote-49), участники которого в конце концов предстали перед исправительным судом; Серизе высокомерно выслушал обвинительный приговор, заявив, что его осуждение — результат происков республиканцев, не захотевших простить ему жестокого урона, понесенного ими от его газеты, ибо на один их удар он отвечал десятью ударами. Заключение Серизе отбывал в тюремной больнице. Власти стыдились человека, вышедшего из приюта для подкидышей; отвратительные привычки и позорные делишки, которые он обделывал в компании с бывшим банкиром по имени Клапарон, по заслугам лишили его всякого уважения. Таким образом, Серизе падал все ниже и ниже и, очутившись на последней ступеньке социальной лестницы, долго обивал пороги, пока из милости не получил место экспедитора канцелярии, где служил Дюток. Впав в ничтожество, человек этот мечтал о реванше и, поскольку ему нечего было терять, не гнушался никакими средствами. Его и Дютока связывали порочные наклонности. Серизе служил Дютоку тем же, чем служит гончая охотнику. Будучи хорошо осведомлен о нуждах обездоленных своего квартала, Серизе занимался мелким ростовщичеством: он принадлежал к числу тех, кого в народе именуют процентщиками; Серизе делился с Дютоком, он мало-помалу превратился в банкира лоточников, разносчиков и зеленщиков. Бывший парижский мальчишка стал в конце концов пиявкой, высасывавшей соки из бедняков двух предместий.

— Послушай, — сказал Серизе открывшему дверь Дютоку, — коль скоро Теодоз вернулся, пойдем к нему...

И адвокат бедняков вынужден был пропустить двух мужчин в свою квартиру.

Все трое вошли в небольшую переднюю, выложенную плитками; свет, проникавший сюда сквозь перкалевые занавески, играл на покрытом толстым слоем красного воска полу и позволял разглядеть скромный круглый стол из ореха, ореховые же стулья и ореховый буфет, на котором стояла лампа. Дверь из передней вела в небольшую гостиную с красными занавесями и мебелью красного дерева, обитой красным утрехтским бархатом, у стены напротив окон стоял книжный шкаф, наполненный трудами по юриспруденции. На камине виднелся мещанский набор вещей: настольные часы с четырьмя колонками красного дерева и канделябры под стеклянными колпаками. Приятели прошли в кабинет и уселись перед камином, где горел каменный уголь; то был обычный кабинет начинающего адвоката: письменный стол, кресла с подлокотниками, на окнах — занавеси из зеленого шелка, на полу — зеленый ковер, этажерки для папок с бумагами и кушетка, над которой виднелось распятие из слоновой кости на бархате. Спальня и кухня, должно быть, выходили окнами во двор.

— Ну как? — осведомился Серизе. — Все хорошо? Мы преуспеваем?

— Конечно, — ответил Теодоз.

— Признайте, что мне пришла в голову знаменитая мысль! — воскликнул Дюток. — Ведь это я придумал, как нам прибрать к рукам болвана Тюилье...

— Да, но и я тоже не зевал, — заявил Серизе. — Я пришел сегодня, чтобы научить вас, как связать по рукам и ногам старую деву и принудить ее покорно следовать за нами... Не забывайте: она всему делу голова! Если мы ее привлечем на свою сторону, считайте, что крепость завоевана... Скажу коротко, без лишних слов, как и подобает деловому человеку. Мой бывший компаньон Клапарон, как вам известно, — набитый дурак, всю свою жизнь он был и останется всеобщим посмешищем. В настоящее время он служит подставным лицом для некоего парижского нотариуса, вошедшего в сговор с подрядчиками; они — и нотариус и подрядчики — вылетели в трубу! А в ответе Клапарон, который еще ни разу не был в положении банкрота. Но в жизни все раньше или позже случается, и сейчас он прячется в моей берлоге на улице Пуль, там его вовек не сыщут. Бедняга в ярости, у него нет ни гроша. Так вот, среди пяти или шести домов, которые пойдут с молотка, есть один — не дом, а просто жемчужина: он великолепно построен из тесаного камня, находится неподалеку от церкви Мадлен, фасад у него украшен очаровательными скульптурами, прямо не фасад, а щегольская шляпа. Но так как дом не закончен, то пойдет сегодня за сто тысяч франков, потратив еще тысяч двадцать пять, можно добиться того, что года через два он будет приносить сорок тысяч франков дохода. Если мы окажем такого рода услугу мадемуазель Тюилье, она нам будет благодарна по гроб жизни, особенно если намекнуть ей, что это выгодное дельце не последнее. Людей тщеславных можно покорить, либо льстя их самолюбию, либо угрожая им, подобно этому скупцов можно подчинить себе, либо покушаясь на их кошелек, либо наполняя его. А так как действовать в интересах Тюилье — все равно, что действовать в наших собственных интересах, надо сосватать старухе дом.

— Но разве нотариус на это пойдет? — спросил Дюток.

— Дружище Дюток, именно нотариус нам и поможет! Он вконец разорился и даже вынужден был продать свою контору, но у него хватило ума сохранить для себя этот лакомый кусочек. Уверенный в честности Клапарона, он поручил нашему простофиле подыскать человека, который согласился бы стать номинальным владельцем дома: сами понимаете, ведь нотариус должен действовать осмотрительно и наверняка. Что ж, никто не мешает ему верить, что мадемуазель Тюилье, сия достопочтенная старая дева, согласится на предложение Клапарона, и тогда в дураках окажутся оба — и нотариус и его доверенное лицо. Я с удовольствием сыграю эту штуку с Клапароном, ведь он заставил меня одного отдуваться за дела коммандитного товарищества, когда нас обвел вокруг пальца этот плут Кутюр, в чьей шкуре я никому не пожелал бы оказаться! — воскликнул Серизе, и в его выцветших глазах засверкала адская злоба. — Я кончил, милостивые государи! — продолжал он, повышая голос, с шумом пропуская воздух сквозь свои уродливые ноздри и становясь в трагическую позу, что ему удалось довольно ловко проделать, ибо в пору жестокой нужды Серизе некоторое время был актером.

После речи Серизе в комнате воцарилось глубокое молчание; это позволило Теодозу услышать звон дверного колокольчика. Адвокат поспешил в переднюю.

— Вы по-прежнему довольны им? — спросил Серизе у Дютока. — По-моему, у него какой-то странный вид... У меня особый нюх на измену.

— Он до такой степени в нашей власти, — ответил Дюток, — что я даже не даю себе труда наблюдать за ним. Но, должен признаться, этот человек сильнее, чем я думал... Мы-то полагали, что помогли сесть в седло увальню, в жизни не сидевшему на лошади, а шельмец-то оказался опытным наездником. Так-то...

— Ну, пусть он побережется! — глухо сказал Серизе. — Я могу в один миг разрушить все его замыслы, как карточный домик. Вы, папаша Дюток, видите его в деле и можете все время следить за ним, не спускайте же с него глаз! Впрочем, у меня есть великолепный способ хорошенько его прощупать: надо будет, чтобы Клапарон предложил ему избавиться от нас, и тогда мы проникнем в его тайные помыслы...

— Ну что ж, способ недурен, — ответил Дюток, — ты всегда любил крайние меры.

— Просто я знаю, как обращаться с такими молодчиками, вот и все! — воскликнул Серизе.

Весь этот разговор велся вполголоса, пока Теодоз шел к входной двери и возвращался обратно. Когда адвокат показался на пороге кабинета, Серизе внимательнейшим образом разглядывал мебель.

— Это Тюилье, я ждал его прихода, он в гостиной, — негромко сказал Теодоз. — Пожалуй, ему не стоит видеть Серизе, — прибавил он с улыбкой, — этот сюртук со шнурами, чего доброго, наполнит его тревогой.

— Ба! Ты принимаешь горемык, ведь это твоя профессия... Тебе нужны деньги? — прибавил Серизе, вытаскивая из кармана панталон сто франков. — Бери, бери, они не повредят.

И он положил деньги на камин.

— О чем ты беспокоишься? — произнес Дюток. — Ведь мы можем уйти через спальню.

— В таком случае прощайте, — оказал провансалец, открывая искусно замаскированную дверь, которая вела из кабинета в спальню. — Входите, дорогой господин Тюилье! — крикнул он красавцу времен Империи.

Увидя домовладельца в дверях кабинета, адвокат последовал за двумя своими приятелями и провел их через спальню и умывальную комнату в кухню, выходившую на лестничную площадку.

— Через полгода ты должен стать мужем Селесты и занять прочное положение... Ты счастливчик, мой милый, тебе не пришлось дважды сидеть на скамье подсудимых в исправительном суде... как мне! В первый раз это произошло в двадцать четвертом году, когда против меня возбудили преследование... из-за серии статей, хотя я не имел к ним никакого касательства, а во второй раз — из-за барышей некоего коммандитного товарищества, которые уплыли у меня из-под самого носа! Поторапливайся, милейший! Помни, что Дюток и я, мы оба крайне нуждаемся в своих тридцати тысячах франков каждый. Ну, с богом, дружище! — прибавил он, протягивая руку Теодозу и вкладывая в это рукопожатие какой-то скрытый смысл.

Провансалец, в свою очередь, протянул руку Серизе и крепко сжал его пальцы:

— Друг мой, будь уверен, никогда в жизни я не забуду, из какой бездны ты меня вытащил и всего того, что ты для меня сделал... Ведь я только орудие в ваших руках, а между тем вы уделяете мне львиную долю, и, поведи я нечестную игру с вами, я окажусь подлее каторжника, ставшего доносчиком.

Как только захлопнулась дверь, Серизе прильнул к замочной скважине, чтобы разглядеть выражение лица Теодоза; однако провансалец повернулся спиной к дверям и направился в кабинет, так что экспедитору не удалось увидеть физиономию своего подопечного.

А между тем на лице Теодоза было написано не отвращение и не печаль, а откровенная радость. Он уже видел впереди прямой путь к успеху и льстил себя надеждой, что ему удастся освободиться от своих гнусных дружков, которым он, впрочем, был всем обязан. Нищета повсюду, особенно в Париже, вынуждает людей опускаться на самое дно, покрытое вязким илом, и когда, едва не утонув, человек чудом всплывает на поверхность, его тело и одежда непременно вымазаны тиной. Серизе, в прошлом щедрый друг и покровитель Теодоза, ныне олицетворял для провансальца липкую грязь, и проницательный делец догадывался, что, очутившись в буржуазном кругу, где люди необыкновенно придирчивы к репутации, молодой адвокат жаждет очиститься от этой грязи.

— Что случилось, любезный Теодоз? — спросил Тюилье. — Каждый день мы надеялись вас увидеть, и каждый вечер обманывал наши надежды... Но нынче воскресенье, у нас званый обед, моя сестра и жена поручили мне просить вас непременно прийти...

— Всю неделю я был по горло занят, — отвечал Теодоз, — я не мог уделить и двух минут никому, даже вам, которого считаю своим другом и с кем мне надобно поговорить...

— Как? Стало быть, вы всерьез помышляете о том, о чем беседовали со мной в прошлое воскресенье? — воскликнул Тюилье, перебивая Теодоза.

— Если вы пришли не за тем, чтобы потолковать об этом предмете, я стану вас уважать меньше, чем уважал, — продолжал ла Перад с улыбкой. — Ведь вы были помощником правителя канцелярии, стало быть, в вас должно сохраниться немного честолюбия; в таком человеке, как вы, оно чертовски уместно! Между нами говоря, меня глубоко возмущает, когда какой-то Минар, этот разбогатевший олух, приносит поздравления королю и, пыжась, разгуливает в Тюильри, когда какой-то Попино вот-вот станет министром, между тем как вы, человек, понаторевший в делах управления, имеющий тридцатилетний опыт, видевший смену шести правительств, заняты тем, что пересаживаете бальзамины... Куда это годится!.. Я с вами откровенен, мой дорогой Тюилье, я хочу добиться вашего возвышения, ибо вы затем потянете меня за собой... Так вот, выслушайте мой план. Мы добьемся вашего избрания в члены генерального совета округа. Именно вы должны занять этот пост!.. И вы его займете, — проговорил он, выделяя последнее слово. — А в один прекрасный день, когда будут происходить новые выборы в Палату депутатов, и этот день не за горами, вы сделаетесь депутатом от нашего округа... Голоса людей, которые изберут вас в муниципальный совет, останутся за вами, когда речь пойдет об избрании депутата, можете мне поверить...

— Но как вы предполагаете действовать?.. — воскликнул завороженный Тюилье.

— В свое время узнаете, но только не мешайте мне исподволь подготовить это нелегкое предприятие, требующее выдержки и терпения. Если вы не сумеете сохранить в строжайшей тайне все, о чем мы будем с вами говорить и замышлять, все, о чем мы будем уславливаться, я от вас отступлюсь, и — мое почтение!

— О, вы можете рассчитывать на мою абсолютную сдержанность, ведь я был помощником правителя канцелярии и знаю, что такое секреты...

— Отлично! Но ведь нам многое придется держать в секрете и от вашей жены, и от вашей сестры, и от господина и госпожи Кольвиль.

— Ни один мускул в моем лице не дрогнет, — заявил Тюилье, удобнее устраиваясь в кресле.

— Отлично! — повторил ла Перад. — Я вас сейчас испытаю. Для того, чтобы быть избранным, человек должен уплачивать ценз, а вы его не платите.

— Это верно!..

— Так вот, моя преданность столь велика, что я хочу посвятить вас в секрет одной деловой операции, которая обеспечит вам годовой доход в тридцать, а то и в сорок тысяч франков на капитал самое большее в полтораста тысяч франков. В вашем доме с давних пор всеми финансовыми делами ведает ваша уважаемая сестра, это совершенно разумно: ведь она, как говорят, может дать любому дельцу сто очков вперед. Вот почему вы должны помочь мне завоевать расположение и дружбу мадемуазель Бригитты, а для этого я хочу предложить ей выгодно поместить капитал. Если мадемуазель Тюилье не уверует в мои способности, у вас с ней могут возникнуть разногласия, к тому же вам неудобно предлагать сестре, чтобы она приобрела недвижимость на ваше имя! Лучше, если эту мысль ей подскажу я. Впрочем, вы оба будете судить о том, выгодно ли предлагаемое мною дело. Что же касается того, каким способом я намерен добиться цели, то, извольте, вот он. Фельон располагает голосами четверти избирателей квартала; он и Лодижуа живут здесь тридцать лет, к ним прислушиваются, как к оракулам. Один из моих друзей располагает голосами другой четверти избирателей. Священник церкви Сен-Жак, которому добродетели помогли приобрести влияние на своих прихожан, также может доставить нам малую толику голосов. Дюток и его мировой судья могут повлиять на многих обитателей округа, Дюток окажет эту услугу, тем более что речь идет не обо мне. Наконец, Кольвиль в качестве секретаря мэрии также завоюет нам большое количество сторонников.

— Вы правы, я уже избран! — вскричал Тюилье.

— Вы полагаете? — спросил ла Перад, и в его голосе прозвучала уничтожающая ирония. — Ну, что ж, попробуйте обратиться с просьбой об услуге к своему другу Кольвилю, и вы услышите, что он вам на это ответит... Когда речь заходит о том, чтобы избрать человека на какую-нибудь должность, сам он никогда не добьется успеха, за него должны хлопотать друзья. Кандидат ни в коем случае не должен просить за себя, он должен прослыть человеком, лишенным честолюбия; даже когда его станут уговаривать, ему следует для вида отказываться.

— Ла Перад! — воскликнул Тюилье, вставая с места и протягивая руку молодому адвокату. — Вы необыкновенный человек...

— Ну, не в такой степени, как вы, — ответил, улыбнувшись, провансалец, — но, как говорится, у каждого свои достоинства.

— Но как я смогу вас отблагодарить, если ваши хлопоты увенчаются успехом?

— О, пусть вас это не заботит... Боюсь, вы сочтете меня дерзким, но дело в том, что мною владеет чувство, которое вам все объяснит, оно-то и побудило меня начать эти хлопоты! Я влюблен и хочу излить вам свою душу.

— Кого же вы любите? — спросил Тюилье.

— Вашу очаровательную крошку Селесту, — отвечал ла Перад, — и эта любовь — надежный залог моей преданности. В самом деле, чего не сделаешь ради будущего тестя! Мною движет эгоизм, ведь я, собственно, стараюсь ради самого себя...

— Т-с-с! — прошипел Тюилье.

— О друг мой, — успокоительно проговорил Теодоз, обнимая его за талию, — не будь Флавия на моей стороне и не знай я всего из первых рук, разве я заговорил бы с вами об этом? Но только вы ей — ни словечка, слушайте, что она вам станет говорить, и молчите. Скажу откровенно: я из того материала, из которого делают министров, и я не хочу получить Селесту, пока не заслужу этого! Так что вы отдадите мне ее руку в канун того дня, когда произойдет голосование, в результате которого вы соберете число бюллетеней, достаточное для того, чтобы стать депутатом от Парижа. Но чтобы сделаться депутатом от Парижа, надо одержать верх над Минаром, стало быть, надо обезвредить Минара и прочих, а для этого вам следует сохранить все средства влияния; если хотите добиться желанного результата, не лишайте их надежды на получение руки Селесты, и мы их всех ловко проведем... Госпожа Кольвиль, вы и я в один прекрасный день станем людьми заметными. Не подумайте, ради бога, что я льщусь на интересы: мне не нужно никакое приданое за Селестой, с меня достаточно уверенности, что она в будущем получит наследство... Жить одной семьей с вами, оставить свою жену в кругу близких ей людей — вот моя мечта... Как видите, я от вас ничего не скрываю, задних мыслей у меня нет. Но вернемся к вашим делам: через полгода после того, как вы станете генеральным советником, вы получите орден Почетного легиона, а сделавшись депутатом, найдете средство добиться и офицерского креста... Что касается ваших речей для выступлений в Палате, ну, что ж, мы будем их писать вместе! Вам неплохо было бы, пожалуй, сделаться автором какого-нибудь серьезного труда, наполовину нравственного, наполовину политического. Это могло быть, скажем, исследование о благотворительных учреждениях с точки зрения их возвышающей душу деятельности или, допустим, опыт об изменении порядков в городском ломбарде, где, как известно, совершаются ужасные злоупотребления. Такого рода сочинение послужило бы во славу вашего имени... А это очень важно, особенно в нашем округе. Я вам уже сказал: «Вы можете получить орден и стать членом генерального совета департамента Сены». Так вот, верьте мне, вы только тогда дадите согласие на то, чтобы я вошел в вашу семью, когда в вашей петлице засияет орденская ленточка и на следующий день после того, как вы вернетесь домой с заседания из городской ратуши. Я сделаю еще больше: я добьюсь для вас верного дохода в сорок тысяч франков...

— Если вы исполните хотя бы одно из своих обещаний, то Селеста будет принадлежать вам!

— Вы и сами не знаете, какое это сокровище! — пылко произнес ла Перад, возводя очи горе. — Я каждый день молю бога ниспослать ей счастье... Она прелестна, впрочем, ведь она походит на вас... Кстати, я ведь тут ни при чем! Право же, обо всем мне рассказал Дюток. Я прощаюсь с вами до вечера. А сейчас направлюсь к Фельонам хлопотать о вашем деле. Ах, да, нечего и говорить, что вам и в голову не приходило видеть во мне возможного жениха Селесты... Если об этом кто-нибудь проведает, я окажусь связанным по рукам и ногам. Так что молчок, никому ни слова, даже Флавии! Пусть она заговорит с вами первая. Нынче вечером Фельон будет настойчиво добиваться вашего согласия на то, чтобы выдвинуть вас кандидатом в советники.

— Нынче вечером? — изумился Тюилье.

— Нынче вечером, — ответил ла Перад, — разве только я не застану его дома.

Тюилье вышел, говоря себе:

«Вот необыкновенный человек! Мы всегда отлично будем понимать друг друга, и, право же, нам трудно найти лучшего мужа для Селесты; они станут жить у нас в доме, одной семьей, и это немало. Он славный малый, добряк, каких не часто встретишь...»

Для людей такого склада, как Тюилье, второстепенные соображения зачастую выступают на первое место. Он убедил себя, что Теодоз — добрейший человек.

Через несколько минут молодой адвокат показался на улице; дом, куда он направлялся, уже лет двадцать был *hoc erat in votis* [[50]](#footnote-50) Фельона, и он был в такой же мере неотъемлемой принадлежностью Фельонов, в какой шнуры на сюртуке Серизе были неотъемлемой принадлежностью экспедитора.

Дом этот прилепился к какому-то огромному зданию; расстояние между его фасадом и задней стеной не превышало двадцати футов, по бокам к нему примыкали две небольшие пристройки с одним окном каждая. Главным украшением дома был сад шириной приблизительно в тридцать туазов; сад был длиннее фасада как раз на величину двора, выходившего на улицу; вдоль одной из пристроек шла коротенькая аллея, усаженная липами. Со стороны улицы двор был огражден двумя решетками, между ними находились небольшие ворота с двумя створками.

Это трехэтажное строение из оштукатуренного известняка было выкрашено в желтый цвет, жалюзи на окнах верхних этажей, как и ставни в нижнем этаже, были зелеными. Кухня помещалась в первом этаже одного из флигельков, выходившего окнами во двор; кухарка — толстая и здоровая девица — выполняла также функции привратника, в чем ей помогали два огромных пса. Фасад дома с пятью окнами, обрамленный двумя флигельками, выступавшими вперед на туаз, был построен в стиле Фельона. Над подъездом блестела белая мраморная табличка, по которой шла золотая надпись: *«Aurea mediocritas»* [[51]](#footnote-51). Посреди фасада виднелся небольшой выступ, под которым было начертано нижеследующее мудрое изречение: «Umbra mea vita sit»[[52]](#footnote-52).

Наружные подоконники были недавно заменены новыми, из красного лангедокского мрамора, купленными по сходной цене у какого-то каменотеса. В глубине сада возвышалась раскрашенная статуя: издали она напоминала кормилицу, держащую у груди младенца. Фельон сам ухаживал за садом. В первом этаже помещались только гостиная и столовая, разделенные лестничной клеткой, переходившей в переднюю. К гостиной примыкала небольшая комната, служившая кабинетом Фельону.

На втором этаже находились комнаты супругов и их старшего сына, на третьем этаже были расположены комнаты младших детей и слуг, ибо Фельон, считая, что он и его жена уже достигли преклонного возраста, взял в услужение мальчишку лет пятнадцати; старик окончательно пришел к этому решению, когда его старший сын с головой окунулся в педагогическую деятельность. В левой стороне двора приютились службы, сюда складывали дрова, а при прежнем домовладельце здесь жил привратник. Старики Фельоны, без сомнения, ожидали только женитьбы старшего сына, чтобы позволить и себе такую же роскошь.

Фельон долгое время приглядывался к этому владению и наконец в 1831 году приобрел его за восемнадцать тысяч франков. Дом был отделен от двора балюстрадой, сложенной из тесаных камней, поверх которых шла черепица. Вдоль этой нарядной ограды тянулась живая изгородь из кустов бенгальской розы: посреди ограды виднелась решетчатая дверь, она была расположена прямо против ворот, ведущих на улицу.

Те, кому знаком тупик Фейантин, легко представят себе, что дом Фельона, стоявший под прямым углом к дороге, был весь день залит солнцем и защищен от северного ветра высокой стеной соседнего строения, к которому он примыкал. Купол Пантеона и купол Валь-де-Грас, походившие на двух исполинов, настолько загромождали окружающее пространство, что человеку, прогуливавшемуся по садику, казалось, будто перед ним открывается узкий коридор. Трудно найти место более тихое и молчаливое, чем тупик Фейантин. Таким было убежище великого безвестного гражданина, который вкушал радость отдыха, заплатив сполна свой долг родине, ибо он много лет прослужил на поприще министерства финансов: Фельон вышел в отставку с орденом, пробыв чиновником тридцать шесть лет.

В 1832 году он повел свой батальон национальной гвардии в атаку на монастырь Сен-Мерри[[53]](#footnote-53), но соседи видели, что в глазах у него стояли слезы, ибо ему приходилось стрелять в заблуждающихся французов. Исход боя был решен, когда батальон совершал перебежку через мост Нотр-Дам, предварительно прорвавшись на набережную Флёр. Такая чувствительность завоевала Фельону уважение жителей квартала, но зато лишила его ордена Почетного легиона; полковник во всеуслышание заявил, что человек, носящий оружие, не должен рассуждать: он в точности повторил слова, с которыми Луи-Филипп обратился к национальной гвардии в Меце. Тем не менее жалостливая натура буржуа Фельона и глубокое почтение, которым он был окружен в своем квартале, сохраняли за ним пост командира батальона на протяжении восьми лет. Ему уже было около шестидесяти лет, и в предвидении того дня, когда ему придется расстаться со шпагой и мундиром национального гвардейца, он не переставал надеяться, что король (Фельон произносил «куроль») все же окажет ему милость и во внимание к его заслугам наградит орденом Почетного легиона; верность истине заставляет нас отметить (хотя такого рода мелочность и накладывает пятно на столь славного человека), что, бывая на приемах в Тюильри, командир батальона Фельон поднимался на цыпочки, настойчиво пробивался в первый ряд и украдкой поглядывал на короля-гражданина[[54]](#footnote-54), обедавшего за столом; словом, Фельон лез из кожи вон, но так и не добился, чтобы *его* король бросил взгляд на своего верноподданного. Достопочтенный буржуа никак не мог собраться с духом и попросить Минара походатайствовать за него.

Фельон, человек пассивный и покорный, становился необыкновенно стойким, едва речь заходила о долге; в вопросах, где требовалось проявить щепетильную честность и добросовестность, человек этот был подобен бронзе. Дополним портрет Фельона описанием его наружности: к шестидесяти годам он, употребляя словечко буржуазного жаргона, *раздобрел*; его добродушное лицо, отмеченное оспой, напоминало полную луну, так что толстые губы стали под старость казаться обыкновенными. Близорукие бледно-голубые глаза, защищенные толстыми очками, с возрастом потеряли присущее им простодушное выражение, вызывавшее улыбку; седые волосы придавали теперь лицу серьезность, а ведь еще каких-нибудь двенадцать лет назад оно казалось необыкновенно глупым и смешным. Время, которое так жестоко обращается с тонкими, нежными чертами, изменяет к лучшему физиономии, отличавшиеся в молодости чертами массивными и резкими: именно так и произошло с Фельоном. Состарившись, он посвящал свой досуг сочинению краткого очерка истории Франции, ибо уже являлся автором нескольких трудов, одобренных университетом.

Когда ла Перад вошел в дом, вся семья была в сборе; г-жа Барниоль рассказывала матери о самочувствии одного из своих детей, которому в тот день нездоровилось. Сын Фельона — пансионер Училища путей сообщения — проводил этот день в семье. Фельон и его домочадцы, разодетые по-воскресному, сидели перед камином в обшитой деревянной панелью гостиной, выкрашенной в серые тона; они вздрогнули и невольно привстали в креслах красного дерева, когда Женевьева объявила о приходе человека, о котором недавно шла речь в связи с Селестой, этой прелестной девушкой, внушившей Феликсу Фельону такую любовь, что он готов был ходить к обедне только для того, чтобы видеть ее. Ученый математик как раз в то утро совершил сей подвиг, и родные дружески подшучивали над ним, желая в душе, чтобы Селеста и ее родители поняли наконец, какое сокровище открывается им в лице Феликса.

— Увы! По-моему, Тюилье без ума от этого опасного человека, — заявила г-жа Фельон. — Нынче утром ла Перад подхватил госпожу Кольвиль под руку, и они вдвоем отправились в Люксембургский сад.

— В этом адвокате есть что-то зловещее! — вскричал Феликс. — Если бы обнаружилось, что он совершил преступление, меня бы это не удивило...

— Ну, ты хватил через край, — возразил его отец, — он просто двоюродный брат Тартюфа, чей бессмертный образ словно отлит из бронзы нашим почтенным Мольером, ибо, дети мои, в основе гения Мольера лежат самые почтенные добродетели, в частности патриотизм.

Именно в эту минуту вошла Женевьева и объявила:

— Там пришел господин де ла Перад, он хочет поговорить с барином.

— Со мной? — воскликнул господин Фельон. — Проси! — прибавил он тем торжественным тоном, в какой нередко впадал, говоря о самых обычных вещах, и становился от этого смешным; тон его, однако, импонировал домочадцам, и они смотрели на главу семьи с не меньшим уважением, чем на короля.

Фельон, оба его сына, жена и дочь поднялись со своих мест и молча ответили поклоном на поклон адвоката.

— Чему мы обязаны честью видеть вас, сударь? — сурово спросил Фельон.

— Тому важному положению, какое вы занимаете в нашем квартале, любезный господин Фельон, а также той роли, какую вы играете в делах, связанных с жизнью общества, — отвечал Теодоз.

— В таком случае пройдемте в мой кабинет, — предложил Фельон.

— Нет, нет, мой друг, — вмешалась сухопарая г-жа Фельон, невысокая женщина, плоская, как доска, с лица которой никогда не сходило строгое выражение, раз и навсегда усвоенное ею в пансионе для благородных девиц, где она преподавала музыку, — лучше уж мы удалимся и оставим вас вдвоем.

Фортепьяно Эрара, стоявшее между двумя окнами против камина, недвусмысленно говорило о претензиях достойной матроны, связанных с ее профессией.

— Я крайне огорчен, что послужил причиной вашего бегства! — проговорил Теодоз, обращаясь с учтивой улыбкой к супруге хозяина дома и его дочери. — Как у вас здесь уютно, — продолжал он, — не хватает только прелестной невестки, и тогда вы сможете спокойно провести остаток дней своих среди семейных радостей, руководствуясь мудрым изречением латинского поэта, мечтавшего об *«aurea mediocritas»*. Своей прошлой жизнью вы вполне заслужили сию награду, ибо все, что я слышал о вас, любезный господин Фельон, говорит о том, что в вашем лице сочетаются воедино и отменный гражданин и патриарх...

— Сударь, — пробормотал смущенный Фельон, — сударь, я только *испулнял* свой долг, *вот и вся!*

Госпожа Барниоль, походившая на свою мать, как походят друг на друга две капли воды, услышав слова Теодоза о невестке для Фельона, посмотрела на мать и на своего брата Феликса с таким видом, словно хотела сказать: «Неужели мы так ошибались в нем?»

Желание обсудить все это увлекло мать и ее троих детей в сад, ибо в марте 1840 года погода, во всяком случае в Париже, стояла сухая.

— Господин майор, — начал Теодоз, оставшись наедине с достойным буржуа, которому необыкновенно льстил этот чин, — ведь я — один из ваших солдат... Я пришел к вам по поводу предстоящих выборов...

— Да, да, нам надобно избрать муниципального советника, — прервал его Фельон.

— И вот, чтобы поговорить о кандидате на этот пост, я и позволил себе нарушить ваш воскресный отдых. Быть может, мы сумеем подобрать его, так сказать, в семейном кругу.

Сам Фельон не мог бы произнести эту фразу с более фельоновской интонацией, чем это сделал Теодоз!

— Я не позволю вам сказать больше ни слова, — ответил Фельон, воспользовавшись паузой, которую Теодоз сделал, чтобы оценить эффект, произведенный его словами. — Дело в том, что мой выбор уже сделан.

— Нам пришла в голову одна и та же мысль! — вскричал ла Перад. — Стало быть, сходятся не только люди умные, но и люди почтенные.

— Я не думаю, что мы сошлись с вами во мнениях, — возразил Фельон. — Наш округ представлял в муниципалитете самый добродетельный из людей, величайший из судейских чиновников, господин Попино, ныне покойный советник королевского суда. Когда зашла речь о том, кем заменить его, то оказалось, что племянник господина Попино, продолжающий благотворительную деятельность своего дяди, не проживает в нашем округе. Однако с тех пор он успел приобрести в собственность дом, где обитал его почтенный дядюшка, дом этот расположен на улице Монтань-Сент-Женевьев. Племянник усопшего — врач Политехнической школы и одной из наших больниц, он служит подлинным украшением квартала. Имея все это в виду, а также желая почтить в особе племянника память его дяди, несколько жителей квартала, и среди них я, решили выдвинуть кандидатуру доктора Opaca Бьяншона, члена Академии наук, как вам, вероятно, известно, и восходящую звезду знаменитой парижской медицинской школы... Правда, с моей точки зрения, человек может быть велик и не будучи знаменитым, я считаю, что ныне покойный советник Попино был почти что святым — под стать Венсану де Полю[[55]](#footnote-55).

— Врач редко бывает хорошим администратором, — ответил Теодоз, — к тому же я собирался назвать имя человека, которому вы в собственных интересах должны отдать предпочтение, тем более что все, о чем вы только что говорили, не имеет прямого отношения к общественному благу.

— Ах, сударь! — вскричал Фельон, поднимаясь с кресла и становясь в позу Лафона[[56]](#footnote-56) в «Гордеце». — Неужели вы до такой степени презираете меня, что можете подумать, будто личные интересы способны оказать влияние на мои политические убеждения! Едва речь заходит о вопросах, касающихся жизни общества, я становлюсь только гражданином, и никем больше.

Теодоз улыбнулся при мысли о том поединке, какой должен был вскоре разгореться между Фельоном-отцом и Фельоном-гражданином.

— Не связывайте самого себя такого рода речами, умоляю вас, — проговорил ла Перад, — ибо дело идет о счастье вашего милого Феликса.

— Что вы хотите этим сказать?.. — удивился Фельон, останавливаясь посреди гостиной.

Достопочтенный буржуа стоял теперь неподвижно, заложив правую руку за борт жилета, в точности подражая прославленному Одилону Барро[[57]](#footnote-57).

— Ведь я пришел поговорить с вами о кандидатуре нашего общего друга, достойнейшего и превосходнейшего господина Тюилье, чье влияние на судьбу прелестной Селесты Кольвиль вам отлично известно. И если, как я надеюсь, ваш сын, молодой человек, которым может гордиться любое семейство и чьи качества неоспоримы, ухаживает за Селестой с благородными намерениями, то лучший способ завоевать вечную признательность семьи Тюилье — это выдвинуть кандидатуру самого Тюилье в муниципальный совет от нашего округа... Я в этих местах человек новый, и, хотя благодеяния, оказанные мною большому числу бедняков, и принесли мне некоторое влияние, я все же не могу предпринять такой шаг. Ведь услуги, оказываемые обездоленным, мало чего стоят в глазах власть имущих, к тому же скромная жизнь, которую я веду, плохо сочетается с деятельностью такого рода. Я посвятил себя служению малым сим, сударь, как и покойный советник Попино, человек, по вашим словам, возвышенный, и, если бы моя жизнь и так не была пропитана религией, если бы моя натура не подходила столь мало к узам, еще более прочным, чем узы брака, моим вторым всепоглощающим призванием стало бы служение богу, церкви... В отличие от прочих филантропов я не поднимаю шума, не выставляю напоказ свои деяния, а просто действую, ибо я целиком предан христианскому милосердию. Мне кажется, я угадал честолюбивые устремления нашего друга Тюилье и захотел содействовать счастью двух существ, созданных друг для друга. Вот почему я и предложил вам способ тронуть несколько холодное сердце Тюилье.

Выслушав эту великолепно произнесенную тираду, Фельон пришел в смятение, он был ослеплен, растроган. Однако старик и тут остался самим собой; направившись прямо к адвокату, он протянул ему руку, а тот протянул свою.

И оба они обменялись рукопожатием, напоминавшим то рукопожатие, каким в августе 1830 года обменялись буржуа и люди, чей день должен был вот-вот наступить.

— Сударь, — проговорил взволнованный командир батальона национальной гвардии, — я дурно судил о вас. То, что вы оказали честь мне доверить, умрет здесь!.. — продолжал он, ткнув себя в левую сторону груди. — Таких людей, как вы, не часто увидишь. Но они приносят нам успокоение среди зрелища зол, увы, неотделимых от существующего социального порядка. Добро встречается столь редко, что мы, по слабости душевной, боимся доверять внешности. Вы всегда найдете во мне друга, если только позволите надеяться, что хотите видеть меня в числе своих друзей... Но вы меня плохо знаете, сударь, я перестал бы уважать себя, если бы выдвинул кандидатуру Тюилье. Нет, мой сын никогда не будет обязан счастьем неблаговидному поступку отца... Я не изменю решения, даже в интересах Феликса... И в этой решимости, сударь, я полагаю свою добродетель!

Ла Перад вытащил носовой платок и потер им глаза, чтобы выдавить слезу, и, протянув руку Фельону, проговорил, глядя в сторону:

— Вот, сударь, поистине величественное зрелище столкновения личных интересов с интересами политическими. Если мой визит даже ни к чему не приведет, я все равно не буду считать его бесплодным... Что вам сказать?.. Будь я на вашем месте, я бы действовал таким же образом... Вы принадлежите к числу величайших созданий божьих — вы человек в высшей степени достойный! О, если бы у нас было много граждан, похожих на Жан-Жака Руссо, а вы человек именно такого склада, каких бы вершин ты достигла, о моя великая родина, Франция!.. Это я, сударь, буду настойчиво добиваться чести быть вашим другом.

— Что там происходит? — воскликнула г-жа Фельон, наблюдавшая за этой сценой из сада, куда выходило окно гостиной. — Ваш отец и это чудовище обнимаются.

Фельон и адвокат вышли из дому и присоединились к членам семьи почтенного буржуа.

— Милый Феликс, — сказал старик, указывая на ла Перада, который в это время приветствовал г-жу Фельон, — ты должен испытывать признательность к сему достойному молодому человеку, он принесет тебе больше пользы, нежели вреда.

Адвокат несколько минут прогуливался в обществе г-жи Барниоль и г-жи Фельон под липами, лишенными в ту пору года листвы; он посвятил их в трудное положение, возникшее в силу упрямства Фельона, вызванного политическими убеждениями, и дал им совет, результаты которого должны были сказаться в тот же вечер: первым следствием этого совета было то, что обе дамы остались в полном восхищении от дарований, искренности и других неоценимых качеств Теодоза. Все семейство в полном составе проводило адвоката до ворот, выходивших на дорогу, и следило за ним глазами до тех пор, пока он не свернул на улицу Фобур-Сен-Жак. Г-жа Фельон, возвращаясь в гостиную, взяла мужа под руку и сказала:

— Неужели, милый друг, ты, такой хороший отец, из-за ложной щепетильности разрушишь возможность самого великолепного брака для нашего Феликса?

— Моя дорогая, — отвечал Фельон, — великие люди античности, такие, как Брут и прочие, забывали о том, что они отцы, когда им следовало выказать себя гражданами[[58]](#footnote-58)... Буржуазия, призванная сменить дворянство, еще больше, чем оно, нуждается в высоких добродетелях. При виде мертвого Тюренна господин де Сент-Илер и думать забыл о своей отрубленной руке... И мы, люди скромные, должны дать доказательства своего благородства, мы обязаны сделать это, на какой бы ступени социальной лестницы ни находились. Для того ли я преподавал уроки возвышенной морали своим детям, чтобы отступиться от нее в тот самый час, когда необходимо руководствоваться ею! Нет, моя дорогая, ты можешь сегодня плакать, но завтра ты станешь меня уважать еще больше!.. — прибавил он, увидя, что на глазах его сухопарой половины показались слезы.

Эти высокие речи он произнес у порога той самой двери, над которой шла надпись: *«Aurea mediocritas»*.

— Мне следовало бы прибавить к этим словам еще два: *et digna!* [[59]](#footnote-59) — прибавил он, указывая перстом на табличку, — но они заключали бы похвалу.

— Отец, — сказал Мари-Теодор Фельон, будущий инженер путей сообщения, когда вся семья вновь собралась в гостиной, — мне думается, нет ничего непорядочного в том, чтобы переменить свой взгляд на вопрос, не имеющий прямого отношения к общественному благу.

— Не имеющий прямого отношения, сын мой! — вспылил Фельон. — В семейном кругу я могу сказать, и Феликс согласен со мной: господин Тюилье абсолютно лишен способностей! Он ничего не знает. Господин Орас Бьяншон — человек одаренный, он многое сможет сделать для нашего округа, а Тюилье не добьется даже пустяка! Запомни, сын мой, что переменить хорошее решение на дурное, руководствуясь личными интересами, — значит совершить низкое деяние. Если оно даже ускользает от глаз человеческих, то за него нас наказывает бог. Я тешу себя надеждой, что за всю свою жизнь не совершил поступка, который бы мучил затем мою совесть, я хочу, чтобы память обо мне ничем не была запятнана. Вот почему мое решение пребудет неизменным.

— О милый папочка! — воскликнула дочь Фельона, кладя подушку на пол, возле ног отца, и устраиваясь на ней, — ты опять становишься на ходули! В муниципальных советах полным-полно тупиц и дураков, а Франция между тем процветает. Он будет голосовать вслед за другими, этот славный Тюилье... Лучше подумай о том, что у Селесты, возможно, будет пятьсот тысяч франков.

— Будь у нее даже миллионы и находись они здесь, передо мной, — вскричал Фельон, — я и тогда не предложу кандидатуру Тюилье, ибо в память самого добродетельного из людей я должен добиться избрания Ораса Бьяншона! С высоты небес Попино взирает на меня и восхищается мною!.. — завопил Фельон в полном самозабвении. — А такие соображения, как те, что ты только что высказала, служат к уничижению Франции и заставляют дурно судить о буржуазии.

— Отец совершенно прав, — заявил Феликс, выходя из глубокой задумчивости, — он вполне заслуживает нашего уважения и любви, ибо теперь, как и всю свою жизнь, ведет себя с истинной скромностью и величайшим благородством. Нет, я не хочу, чтобы мое счастье вызывало в нем угрызения совести, не хочу я добиваться этого счастья и путем интриг, я люблю Селесту так, как люблю вас, мои родные, но превыше всего я ставлю честь своего отца, и коль скоро здесь затронуты его убеждения, не будем об этом больше говорить.

Фельон со слезами на глазах приблизился к старшему сыну и сжал его в объятиях.

— Сын мой! Сын мой!.. — выговорил он задыхающимся голосом.

— Все это глупости, — прошептала г-жа Фельон на ухо дочери, — помоги мне одеться, надо положить этому конец, я хорошо знаю твоего отца, если уж он упрется... Чтобы привести в исполнение план, предложенный тем славным и благочестивым юношей, мне понадобится твоя помощь, будь же наготове, Теодор, — вполголоса сказала она младшему сыну.

В эту минуту в гостиную вновь вошла Женевьева и протянула письмо старику Фельону.

— Тюилье приглашают нас на обед, — сказал он жене.

Блестящая и поражающая воображение мысль, пришедшая в голову адвокату бедняков, потрясла семейство Тюилье не меньше, чем семейство Фельонов. Ничего не открыв сестре, Жером, который считал себя обязанным сдержать слово, данное своему Мефистофелю, отправился к Бригитте и в полном смятении сказал:

— Дорогая крошка, — так Тюилье неизменно обращался к сестре, когда хотел ее задобрить, — у нас сегодня важные гости к обеду, я хочу пригласить Минаров, так что позаботься об угощении. Супругам Фельон я направлю письмецо, правда, немного поздновато, но с ними можно особенно не стесняться... Дело в том, что Минар мне вскоре понадобится, и я хочу пустить ему пыль в глаза.

— Четверо Минаров, трое Фельонов, четверо Кольвилей да нас двое — выходит тринадцать...

— Четырнадцатым будет ла Перад, стоит, пожалуй, пригласить и Дютока, он может быть полезен. Я сейчас поднимусь к нему.

— Что ты затеваешь? — удивилась Бригитта. — Обед на пятнадцать персон! У нас вылетит не меньше сорока франков!

— Не жалей о них, дорогая крошка, а главное, будь полюбезнее с нашим юным другом ла Перадом, ведь он нам так предан... Скоро сама в этом убедишься!.. Если ты меня любишь, береги его как зеницу ока.

С этими словами он вышел, оставив Бригитту в полной растерянности.

— О да, предпочитаю в этом сама убедиться! — пробормотала старуха. — Меня красивыми словами не прельстишь!.. Он славный малый, но прежде чем дать ему место в своем сердце, я должна изучить его лучше, чем до сих пор.

Пригласив к обеду Дютока, Тюилье нарядился в свой лучший костюм и отправился на улицу Масон-Сорбон, в особняк Минара, чтобы очаровать своей любезностью толстуху Зели и сгладить таким образом неприятное впечатление, которое могло возникнуть у Минаров из-за столь позднего приглашения.

Минар приобрел в собственность один из тех больших и роскошных домов, которые старые монашеские ордена построили вокруг Сорбонны. Поднимаясь по широкой каменной лестнице с чугунными перилами, свидетельствовавшими о том, что в царствование Людовика XIII процветало не самое утонченное искусство, Тюилье позавидовал и особняку господина мэра и положению, которое тот занимал в обществе.

Просторный дом, отделенный от улицы двором и садом, отличался красотой и пышностью, характерной для царствования Людовика XIII и занимающей своеобразное промежуточное место между дурным вкусом эпохи упадка Ренессанса и великолепием ранней поры царствования Людовика XIV. Это смешение стилей можно наблюдать во многих архитектурных памятниках. Для него характерны массивные завитки на фасадах Сорбонны и прямые линии колонн, выдержанных в духе греческой архитектуры.

Бывший бакалейщик, удачливый плут, занял особняк духовного руководителя некоего заведения, именовавшегося в свое время Управлением монастырским имуществом и находившегося в подчинении высших церковных властей Франции; учреждение это было основано благодаря прозорливому уму Ришелье.

Имя «Тюилье» отворило перед посетителем двери салона, где царила среди красного бархата и позолоты, в окружении великолепных китайских безделушек, несчастная женщина, чья тучность привлекала к себе внимание принцев и принцесс на открытых балах в королевском дворце.

— Надо признаться, что «Карикатура»[[60]](#footnote-60) во многом права, — сказала однажды с улыбкой некая разряженная дама некоей герцогине, которая не могла сдержать смех при виде Зели, увешанной бриллиантами, красной, как мак, и напоминавшей в своем расшитом золотом платье бочонок, каких немало было в прошлом в ее лавке...

— Прошу простить меня, прекрасная дама, — проговорил Тюилье, извиваясь всем телом и принимая, наконец, позу номер два из своего репертуара 1807 года, — что я только сейчас вручаю вам приглашение к обеду. Я полагал, оно давно отослано, но внезапно обнаружил его на своем письменном столе... Обед состоится сегодня, быть может, я пришел слишком поздно?..

Зели взглянула на мужа, который шел навстречу Тюилье, чтобы поздороваться с ним, и ответила:

— Мы собирались отправиться за город и пообедать *кое-как*, у ресторатора, но тем охотнее откажемся от своего намерения, что, по-моему, уезжать по воскресеньям из Парижа стало уже унылой модой.

— Молодые люди, если их соберется достаточно, немного потанцуют под звуки фортепьяно, в предвидении этого я послал письмецо Фельону, ведь его жена тесно связана с госпожой Прон, преемником...

— Вы хотите сказать, преёмницей, — поправила госпожа Минар.

— О нет, — возразил Тюилье, — тогда уж следует сказать преемницей, подобно тому, как мы говорим «мэр» и «мэрша», да, преемницей мадемуазель Лаграв, ведь она из семьи Барниоль.

— Приходить в парадных туалетах? — спросила мадемуазель Минар.

— Ах нет, что вы! — воскликнул Тюилье. — Мне бы крепко досталось от сестры... Нет, нет, мы собираемся запросто, по-семейному! В годы Империи, мадемуазель, люди знакомились во время танцев... В ту великую эпоху хорошего танцора уважали не меньше, чем славного воина... Но в наши дни слишком уж увлекаются всем положительным...

— Не стоит говорить о политике, — с улыбкой промолвил мэр. — Король велик, он умело управляет нами, я испытываю восхищение перед своей эпохой и перед институтами, которые мы создали для самих себя. К тому же король отлично знает, что делает, развивая промышленность: он сражается врукопашную с Англией, и мы причиняем ей бóльший вред в годы этого плодотворного мира, чем во время войн Империи...

— Каким великолепным депутатом будет Минар! — простодушно воскликнула Зели. — Он уже пробует свои силы, произнося речи дома. Вы, конечно, поможете нам добиться его избрания, Тюилье?

— Не стоит говорить о политике, — ответил Тюилье словами Минара. — Приходите же к пяти часам...

— А молодой Винэ тоже будет? — осведомился Минар. — Он является, без сомнения, из-за Селесты.

— Пусть забудет о ней думать, — отрезал Тюилье. — Бригитта и слышать о нем не хочет.

Зели и Минар переглянулись с довольной улыбкой.

— И с кем только не приходится иметь дело ради сына! — воскликнула Зели, когда Тюилье в сопровождении мэра вышел на лестницу.

— А, ты хочешь быть депутатом! — бормотал Тюилье, спускаясь вниз. — Все им мало, этим бакалейщикам! Господи, что сказал бы Наполеон, увидя, что власть перешла в руки таких вот людей!.. Я, по крайней мере, понаторел в делах управления!.. И он собирается тягаться со мною! Любопытно, что скажет ла Перад!..

Честолюбивый помощник правителя канцелярии самолично пригласил на вечер также и все семейство Лодижуа; затем он зашел к Кольвилю и попросил Селесту надеть свое самое нарядное платье. Тюилье застал Флавию в глубокой задумчивости, она не знала, идти ли ей на обед, и Жером помог ей принять решение.

— Моя старая и вечно юная подруга, — сказал он, обнимая г-жу Кольвиль за талию, ибо в комнате никого больше не было, — я не хочу иметь от вас никаких тайн. Речь идет о весьма важном для меня деле... Большего я сказать не могу, но прошу вас быть особенно любезной с одним молодым человеком...

— О ком вы говорите?

— О ла Пераде.

— А почему я должна быть с ним любезна, Жером?

— В его руках мое будущее, а кроме того, это человек необыкновенно одаренный. О, уж я-то в людях толк знаю... У него есть хватка! — сказал Тюилье, подражая жесту дантиста, вырывающего коренной зуб. — Надо сделать его нашим другом, Флавия... Но, главное, пусть он ничего не замечает, не то слишком возомнит о себе... Он из тех людей, которые ничего даром не делают.

— Как? Уж не хотите ли вы, чтобы я с ним кокетничала?..

— Самую малость, мой ангел, — ответил Тюилье фатовским тоном.

И он удалился, даже не заметив, в какой растерянности пребывала г-жа Кольвиль.

«Да, как видно, этот молодой человек — большая сила... Ну, что ж, посмотрим», — сказала себе Флавия.

Причесываясь, она воткнула в волосы перья марабу; она надела свое серое с розовым платье и накинула черную мантилью, позволявшую видеть ее изящные плечи; на Селесте было миленькое шелковое платье; поверх плиссированного воротника была наброшена косынка, прическа ее напоминала модную в то время прическу — «а-ля Берт».

В половине пятого Теодоз уже был на посту; напустив на себя обычный, чуть придурковатый и подобострастный вид, он прежде всего увлек Тюилье в сад.

— Дорогой друг, — сказал он сладким голосом, — я не сомневаюсь в вашей победе, но считаю необходимым еще раз порекомендовать вам полное молчание. Если вас станут о чем-нибудь спрашивать, особенно о Селесте, давайте уклончивые ответы, которые оставят вопрошающего в недоумении, словом, ведите себя так, как вы некогда вели себя, служа в канцелярии.

— Отлично! — проговорил Тюилье. — Но есть ли у вас уверенность в успехе?

— За обедом вы увидите, какой сюрприз я вам приготовил на десерт. Главное же, будьте скромны. Вот и Минары, я должен окончательно заманить их в сети... Приведите их сюда, а потом удалитесь.

После взаимных приветствий ла Перад ни на шаг не отходил от мэра; улучив подходящую минуту, он отвел его в сторонку и сказал:

— Господин мэр, человек, играющий такую роль в политической жизни, как вы, не стал бы убивать здесь свое время без веских соображений. Я не смею проникать в ваши замыслы, у меня нет на то никакого права, да я и вообще дал себе обет никогда не вмешиваться в дела сильных мира сего. Однако простите мне мою дерзость и соблаговолите выслушать совет, который я осмелюсь вам дать. Если я сегодня оказываю вам услугу, то завтра вы благодаря своему положению сумеете оказать мне две, так что, желая услужить вам, я действую в собственных интересах. Наш друг Тюилье просто в отчаянии, что ничего собою не представляет, вот он и воспылал жаждой стать кем-либо, занять какой-нибудь пост в своем округе...

— Так, так, — пробормотал Минар.

— О, у него весьма скромные мечты, он хотел бы сделаться членом муниципального совета. Мне известно, что Фельон, понимая, сколь важна подобная услуга, предполагает выдвинуть кандидатуру нашего славного хозяина. А посему не сочтете ли вы полезным в ваших собственных видах опередить его в этом? Избрание Тюилье будет для вас весьма полезным и приятным, он отлично справится с обязанностями генерального советника, в муниципалитете встречаются люди еще более недалекие, чем он... К тому же, понимая, что он обязан своим избранием вам, Тюилье, конечно же, на все станет смотреть вашими глазами, тем более, что он считает вас одним из столпов нашего города...

— Любезный друг, я вам весьма благодарен, — отвечал Минар. — Вы оказываете мне услугу, за которую я бесконечно признателен, и она доказывает...

— Что я не выношу этих Фельонов, — быстро подхватил ла Перад, заметив нерешительность мэра, который боялся закончить свою мысль из опасения, как бы она не показалась адвокату обидной. — Терпеть не могу людей, кичащихся своей необыкновенной честностью и склонных превращать возвышенные чувства в звонкую монету.

— Вы, как видно, их до конца раскусили, — заметил Минар, — ведь это ужасные лицемеры! Вся жизнь Фельона за последние десять лет подчинена одному желанию — получить красную ленточку, — прибавил мэр, показывая на свою петлицу.

— Берегитесь! — воскликнул адвокат. — Его сын любит Селесту, он старается проникнуть в цитадель.

— Ну что ж, зато у моего сына двенадцать тысяч годового дохода...

— О, мадемуазель Бригитта на днях заявила, что у жениха Селесты должен быть, по крайней мере, такой доход, — сказал адвокат, сделав неуловимое движение плечами. — Кроме того, сообщу вам по секрету, не пройдет нескольких месяцев, и вы узнаете, что Тюилье владеет недвижимостью, приносящей сорок тысяч франков дохода.

— Ах, черт побери, я это подозревал, — вырвалось у мэра, — ну что ж, он будет членом генерального совета.

— Я прошу вас лишь об одном: ничего не говорите ему обо мне, — сказал адвокат бедняков и, быстро отойдя от мэра, направился навстречу г-же Фельон. — Ну как, удалось вам добиться успеха, прелестная дама?

— Я ждала до четырех часов, но этот достойный и прекрасный человек не дал мне даже закончить свою речь: он слишком занят и не может принять подобный пост, так что господин Фельон уже прочел принесенное мною письмо, в котором доктор Бьяншон благодарит его за любезность, но сообщает, что он, со своей стороны, рекомендует кандидатуру господина Тюилье. Он, мол, употребит свое влияние в его пользу и просит моего мужа поступить так же.

— Что же сказал ваш несравненный супруг?

— Он сказал: «Я выполнил свой долг, я не поступился своими убеждениями, а теперь я — целиком за Тюилье».

— Стало быть, все устроилось, — сказал ла Перад. — Забудьте о моем визите, считайте, что эта ценная мысль пришла в голову вам самой.

Затем, приняв самый почтительный вид, он направился к г-же Кольвиль.

— Сударыня, соблаговолите привести сюда нашего славного папашу Кольвиля, — сказал он, — речь идет об одном сюрпризе для Тюилье, и его надо сохранить в тайне.

Пока ла Перад артистически беседовал с Кольвилем, поражая его воображение целым каскадом блестящих шуток, относящихся к кандидатуре Тюилье, и убеждая Кольвиля поддержать эту кандидатуру, хотя бы из семейных соображений, Флавия в каком-то оцепенении сидела в гостиной, слушая нижеследующий разговор, от которого у нее звенело в ушах.

— Хотелось бы мне знать, о чем там беседуют господа Кольвиль и ла Перад и почему они так смеются? — простодушно спросила г-жа Тюилье, глядя в окно.

— Болтают глупости, как это всегда делают мужчины, когда поблизости нет дам, — отрезала мадемуазель Тюилье, подобно всем старым девам не упускавшая случая сказать какую-нибудь колкость по адресу мужчин.

— Господин де ла Перад на это не способен, — с важностью произнес Фельон, — он один из самых добродетельных молодых людей, которых я встречал. Все знают, какого я мнения о Феликсе, так вот, я считаю, что господин Теодоз не уступает ему, больше того, я хотел бы, чтобы мой сын был столь же благочестив, как он!

— Да, он действительно человек достойный и многого добьется в жизни, — подал голос Минар. — Со своей стороны, я окажу ему всякую поддержку, я бы даже сказал, покровительство, если бы не опасался, что это слово может его обидеть...

— Он тратит больше денег на лампадное масло, чем на хлеб, уж это я доподлинно знаю, — вставил Дюток.

— Его матушка, если она, по счастью, еще жива, может гордиться таким сыном, — наставительно заметила г-жа Фельон.

— Для нас он сущее сокровище, — подхватил Тюилье. — И какой при этом скромник! Он так мало себя ценит.

— Я одно могу сказать, — продолжал Дюток, — ни один молодой человек не мог бы вести себя с бóльшим достоинством, испытывая жестокую нужду. Теперь он восторжествовал над нею, но ему пришлось немало пострадать, это сразу заметно.

— Бедный юноша! — воскликнула Зели. — О, как меня огорчают такие вещи!..

— Я бы с чистым сердцем доверил ему самую сокровенную тайну и даже собственное состояние, — проговорил Тюилье. — А в наше время это самый большой комплимент, какой только можно сделать человеку.

— Да это Кольвиль его смешит! — вскричал Дюток.

В эту минуту Кольвиль и ла Перад возвратились из сада с таким видом, словно они были закадычными друзьями.

— Господа, суп и король не привыкли ждать, — провозгласила Бригитта, — предложите руки дамам!..

Пять минут спустя Бригитта уже наслаждалась результатом своей шутки, которая родилась в привратницкой ее отца: за столом восседали все главные участники нашего повествования, за исключением одного только ужасного Серизе. Портрет старой мастерицы, долгие годы изготовлявшей мешки для денег, был бы неполным, если бы мы опустили описание одного из ее званых обедов. К тому же буржуазная кухня 1840 года — немаловажная подробность в истории нравов, и умелые хозяйки почерпнут, пожалуй, полезные уроки из этих страниц. Женщина, возившаяся целых двадцать лет с мешками для денег, естественно, прониклась желанием обладать несколькими такими мешками, разумеется, набитыми луидорами. Вместе с тем Бригитта соединяла в себе бережливость, которой она была обязана своим состоянием, со способностью не останавливаться перед необходимыми тратами. Вот почему та относительная щедрость, которую она проявляла, когда речь шла о ее брате или о Селесте, была, как небо от земли, далека от скупости. Она даже часто говорила, что завидует скупцам. На последнем обеде она рассказала, что после душевной борьбы и внутренних мук, продолжавшихся целых десять минут, она в конце концов подала десять франков бедной работнице из их квартала, голодавшей, как ей было доподлинно известно, два дня.

— Человеческая натура, — простодушно призналась старая дева, — одержала во мне верх над рассудком.

Пресловутый суп на деле оказался довольно жидким бульоном: даже в дни званых обедов кухарка получала строгое предписание не варить крепкого бульона; ведь семья должна была питаться говядиной в понедельник и во вторник, и чем меньше мясо вываривалось, тем больше питательных соков оно сохраняло.

Недоваренную говядину уносили на кухню в ту самую минуту, когда Тюилье погружал в нее нож; при этом Бригитта неизменно говорила:

— По-моему, мясо немного жестковато, оставь его, Тюилье, говядину никто есть не станет, у нас еще много кушаний впереди.

И в самом деле, бульон был подкреплен четырьмя блюдами, стоявшими на старых спиртовках, с которых облупилось серебро; на обеде, устроенном в честь будущего избрания Тюилье, в них помещались две утки с маслинами, большой круглый пирог с кнелями и угорь по-татарски, а также шпигованная телятина с цикорием. На вторую перемену был подан великолепнейший гусь с каштанами и салат, обложенный кружочками красной свеклы; тут же были принесены горшочки с кремом и посыпанная сахаром репа, которая словно подмигивала запеканке из макарон. Этот обед, походивший на обед привратника, справляющего свадьбу или именины, стоил не больше двадцати франков, к тому же его остатками кормился весь дом в продолжение двух дней. И все-таки Бригитта ворчала:

— Еще бы, когда принимаешь гостей, деньги так и летят!.. Просто ужас!

Стол был освещен двумя уродливыми медными подсвечниками, покрытыми тонким слоем серебра. В каждом из них горели четыре свечи; эти на редкость выгодные свечи носили поэтическое название «звезда». Столовое белье ослепительно сверкало; старинная серебряная посуда досталась брату и сестре в наследство от папаши Тюилье: он приобрел ее еще в годы революции, и она служила ему верой и правдой в том безвестном ресторанчике, который помещался в его швейцарской до 1816 года, когда был закрыт, как и все ресторанчики такого типа, существовавшие в других министерствах. Таким образом, обед вполне соответствовал и столовой, и всему дому, и самим Тюилье, а они, в свою очередь, соответствовали режиму, существовавшему в те годы во Франции, а также нравам той эпохи. Минары, Кольвили и ла Перад обменялись понимающими улыбками, по этим улыбкам нетрудно было догадаться, что все они без исключения смотрят на этот званый обед со сдержанной усмешкой. Минары, привыкшие роскошно жить и вкусно есть, принимали приглашения на такие обеды только потому, что посещали дом Тюилье с определенной целью. Ла Перад, усевшийся рядом с Флавией, шепнул ей на ухо:

— Согласитесь, они заслуживают хорошего урока, эти Минары. Кольвиль и вы постились гораздо чаще, чем того требует религия, я тоже нередко сидел на хлебе с водой! До чего отвратительна жадность этих людей! Селеста будет навсегда для вас потеряна, ведь эти выскочки унаследовали пороки вельмож былых времен, не унаследовав их изящества. У их сына, по слухам, двенадцать тысяч франков дохода, ну и пусть себе ищет жену в семействе Потас, вы не нуждаетесь в их деньгах, нажитых с помощью нечистых проделок. Какое удовольствие настраивать таких людей на нужный тебе лад, подобно тому, как музыкант настраивает контрабас или кларнет!

Флавия слушала Теодоза с улыбкой и не убрала ногу, когда его сапог коснулся ее туфельки.

— Я хочу, чтобы вы все время следили за тем, что происходит, — проговорил он вполголоса, — вот мы и будем объясняться с помощью этой педали. С сегодняшнего дня вы можете читать в моем сердце, я не из тех людей, что строят козни...

Флавия не была избалована общением с людьми выдающимися; решительный, уверенный тон Теодоза покорял ее, ловкий провансалец ставил стареющую красавицу перед необходимостью прийти к определенному решению: либо принять его таким, каков он есть, либо, не колеблясь, отвергнуть. Поведение молодого адвоката было построено на трезвом расчете, и поэтому он следил внешне кротким, а на самом деле проницательным взглядом за тем, удалось ли ему окончательно заворожить свою жертву.

Когда прислуга уносила на кухню опустошенные блюда, Минар, боявшийся, как бы Фельон не опередил его, с торжественным видом обратился к Тюилье:

— Дорогой господин Тюилье, я принял приглашение на обед потому, что хотел сделать важное сообщение, касающееся вас, и столь лестное, что вам, конечно же, будет приятно, если его услышат ваши гости.

Тюилье побледнел, как полотно.

— Вы добились для меня ордена!.. — воскликнул он и посмотрел на Теодоза с таким видом, словно приглашал того подивиться его проницательности.

— Орден от вас не уйдет, — отвечал мэр, — но сейчас речь идет о вещи более важной. Орден — свидетельство того, что министр держится на ваш счет хорошего мнения, я же имею в виду событие, свидетельствующее о том, что высокого мнения о вас придерживаются все сограждане. Короче говоря, многие избиратели моего округа обратили на вас внимание и желают выразить свое доверие, избрав вас представителем от них в муниципальный совет Парижа, который, как всему свету известно, одновременно выполняет и функции генерального совета департамента Сены...

— Браво! — воскликнул Дюток.

С места поднялся Фельон.

— Господин мэр опередил меня, — проговорил он прочувствованным голосом, — но я так рад тому, что наш друг привлек к себе внимание всех благонамеренных граждан одновременно и снискал себе сторонников во всех концах нашего округа, что не стану жаловаться. К тому же мне подобает быть вторым: власть должна идти во главе!.. (Фельон почтительно поклонился Минару.) Да, господин Тюилье, многие избиратели, живущие в той части округа, где пребывают мои скромные пенаты, захотели вручить вам мандат муниципального советника, и, что особенно знаменательно, ваша кандидатура была подсказана им человеком знаменитым... (Изумленные восклицания гостей)... — человеком, в чьем лице мы хотели почтить память одного из самых добродетельных обитателей нашего округа, который на протяжении двадцати лет был для всех нас отцом родным, — я имею в виду покойного господина Попино, бывшего при жизни советником Королевского суда и советником муниципального совета от нашего округа. Однако его племянник, доктор Бьяншон, слава нашего города, отклонил предложенный ему почетный пост, сославшись на то, что многочисленные обязанности не оставляют ему времени. Поблагодарив нас за оказанную честь, он — прошу заметить это, господа, — порекомендовал нашему вниманию кандидата, только что названного господином мэром; по словам доктора Бьяншона, наш друг господин Тюилье вполне достоин занять пост в городском муниципалитете, принимая во внимание его прошлую деятельность!..

И Фельон под одобрительные возгласы присутствующих уселся на место.

— Тюилье, ты можешь рассчитывать на своего старого друга, — заявил Кольвиль.

В эту минуту все приглашенные, невольно взглянув на Бригитту и на г-жу Тюилье, были глубоко растроганы их видом. По лицу смертельно бледной Бригитты медленно текли слезы, слезы бесконечной радости, а г-жа Тюилье, словно пораженная молнией, сидела неподвижно, пристально глядя куда-то вперед. Внезапно старая дева бросилась в кухню и крикнула Жозефине:

— Спустись в погреб, милая!.. Принеси вино, самое лучшее!

— Друзья мои, — заговорил Тюилье взволнованным голосом, — сегодня лучший день в моей жизни, он мне дороже даже того дня, когда я буду избран, если я только решусь принять это почетное предложение и согласиться на то, чтобы моя кандидатура была рекомендована вниманию наших сограждан... (Громкие возгласы: «Полноте, полноте!») ...ибо я положил немало сил за время тридцатилетней службы на пользу отечества, а вы сами понимаете, что человек порядочный должен хорошенько взвесить свои силы и возможности прежде, чем возложить себе на плечи обязанности члена городского муниципалитета...

— Иного ответа я от вас не ожидал, господин Тюилье! — вскричал Фельон. — Простите, я впервые в жизни прервал говорящего, да к тому же человека, занимавшего в прошлом более высокое положение, чем я, однако бывают обстоятельства...

— Соглашайтесь! Соглашайтесь! — завопила Зели. — Клянусь честью порядочной женщины, такие люди, как вы, должны управлять городом.

— Решайтесь, патрон! — подхватил Дюток. — И да здравствует будущий муниципальный советник... Недурно было бы по этому поводу выпить...

— Стало быть, решено? Вы — наш кандидат? — спросил Минар.

— Вы слишком высокого мнения обо мне, — пробормотал Тюилье.

— Помилуй! — воскликнул Кольвиль. — Человек, который тридцать лет просидел в канцелярии министерства финансов, — истинная находка для города!

— Вы слишком скромны! — вмешался Минар-младший. — Ваши способности нам отлично известны, о вас до сих пор вспоминают в финансовом ведомстве...

— Помните, вы сами этого хотели! — изрек Тюилье.

— Король будет весьма доволен этим выбором, поверьте мне, — проговорил, напыжившись, Минар.

— Милостивые государи, соблаговолите разрешить молодому человеку, живущему в предместье Сен-Жак, — начал ла Перад, — высказать несколько замечаний, которые, быть может, покажутся вам достойными внимания.

Высокое мнение, сложившееся у присутствующих об адвокате бедняков, заставило всех умолкнуть.

— Влияние господина мэра соседнего округа на обитателей нашего округа, где он оставил по себе столь приятные воспоминания; влияние господина Фельона, оракула, да, — с силой повторил Теодоз, заметив протестующий жест Фельона, — оракула своего батальона; не менее мощное влияние господина *де* Кольвиля, объясняющееся его открытым нравом и учтивостью; весьма значительное влияние господина письмоводителя канцелярии мирового судьи и, наконец, те усилия, какие я смогу приложить в сфере моей скромной деятельности, — все это залог успеха, но еще не самый успех!.. Если мы хотим достичь быстрой победы, то должны пообещать друг другу хранить полное молчание по поводу волнующего проявления чувств, имевшего здесь место сегодня... В противном случае, сами того не желая и даже не подозревая об этом, мы возбудим людскую зависть, разбудим низменные страсти, и они позднее воздвигнут на нашем пути препятствия, которые нелегко будет устранить. Политический смысл нынешнего общественного устройства, его главный отличительный признак, самое надежное условие его существования состоит в некоем разделении обязанностей, конечно, в определенных пределах, между властью и средними классами — истинной опорой современного общества, средоточием нравственности, возвышенных чувств и трудолюбия. Но, к чему скрывать, выборность большинства должностей породила игру тщеславия, я бы даже сказал, яростную жажду быть хоть чем-нибудь, она породила ее в таких социальных слоях, где чувства эти малоуместны. Одни считают это полезным, другие — вредным, я не берусь высказывать свое мнение в присутствии людей, перед чьим умом я преклоняюсь, я довольствуюсь тем, что напоминаю об этом, желая привлечь ваше внимание к той опасности, какая может угрожать нашему другу и нашему кандидату. Не прошло и недели после смерти достопочтенного члена муниципального совета, а наш округ уже бурлит от борьбы мелких честолюбцев между собой. Люди любой ценой хотят быть на виду. Самые выборы произойдут, должно быть, не раньше чем через месяц. Подумайте сами, сколько интриг будет затеяно за этот срок!.. Вот почему я умоляю вас не подвергать нашего друга Тюилье нападкам конкурентов. Нельзя, чтобы его честное имя стало добычей публичного обсуждения — этой гарпии наших дней, которая вместо ядовитой слюны исходит клеветою, завистью, злобными выходками, которая стремится унизить все великое, запятнать все достойное уважения, осквернить все святое... Поступим так, как поступали представители третьего сословия в палате: будем хранить молчание и голосовать!

— Он славно говорит, — прошептал Фельон сидевшему с ним рядом Дютоку.

— Да, у него железная логика!..

Сын Минара пожелтел, а потом позеленел от зависти.

— Все это правда и отлично сказано! — воскликнул Минар.

— Принято единогласно, — заключил Кольвиль. — Господа, все мы — люди чести, достаточно того, что мы согласились во всем.

— Цель оправдывает средства, — с пафосом произнес Фельон.

В эту минуту на пороге показалась мадемуазель Тюилье в сопровождении двух служанок. На поясе у нее висел ключ от погреба, по знаку старой девы на стол были водружены три бутылки шампанского, три бутылки доброго старинного вина Эрмитаж и бутылка малаги; усевшись, Бригитта поставила перед собой маленькую бутылочку, которую она несла с благоговейным видом, столь необычным для этой феи Карабос[[61]](#footnote-61). Появление изысканных вин было плодом признательности, переполнявшей сердце старухи, в упоении она забыла и думать о разумной бережливости, неизменной спутнице ее гостеприимства, и выказывала невиданную щедрость, доставившую немалое удовольствие гостям. Вслед за вином был подан богатый десерт: тут были и лакомое блюдо из винных ягод, изюма, орехов и миндаля, и пирамиды апельсинов и яблок, и различные сорта сыра, и варенье, и засахаренные фрукты. Все эти яства появились из глубины шкафов, при других обстоятельствах они бы ни за что не покинули своих убежищ и не оказались бы на столе.

— Селеста, сейчас тебе принесут бутылку водки, которую мой отец приобрел в тысяча восемьсот втором году, приготовь апельсины и залей их водкой! — крикнула Бригитта невестке. — Господин Фельон, откупорьте шампанское, эта бутылка для вас троих. Господин Дюток, возьмите вино! Господин Кольвиль, вы у нас мастер вытаскивать пробки!..

Две служанки подавали рюмки, бокалы для шампанского и бокалы для бордо, так как Жозефина принесла три бутылки этого вина.

— Вино кометы[[62]](#footnote-62)! — вскричал Тюилье. — Господа, вы заставили мою сестру потерять голову.

— В такой вечер нужны пунш и пирожные, — заметила Бригитта. — Я послала к аптекарю за чаем. Господи! Если бы я только знала, что речь идет о выборах, — проговорила она, взглянув на невестку, — то велела бы приготовить индейку...

Это признание было встречено взрывом смеха.

— О, с нас хватит и гуся, — заявил, смеясь, Минар-младший.

— А вот и подкрепление! — воскликнула г-жа Тюилье, когда на стол подали засахаренные каштаны и безе.

Лицо мадемуазель Тюилье пылало; она сияла от гордости: должно быть, ни одна сестра в мире не радовалась до такой степени успехам брата.

— Как это трогательно, особенно для тех, кто ее хорошо знает, — проговорила вполголоса г-жа Кольвиль, указывая на Бригитту.

Бокалы были наполнены, гости переглядывались, видно было, что все ожидают тоста. И тогда ла Перад провозгласил:

— Господа, выпьем за истинно возвышенную душу!..

Все с изумлением посмотрели на него.

— За мадемуазель Бригитту!..

Гости вскочили с мест, стали чокаться, послышались крики; «Да здравствует мадемуазель Тюилье!»

В голосе адвоката было столько искреннего чувства, что оно вызвало всеобщий восторг.

— Господа, — начал Фельон, заглядывая в какую-то исписанную карандашом бумажку, — «За труд, за его блестящие плоды, воплощенные в особе нашего старого товарища, ставшего мэром одного из округов Парижа, за господина Минара и его супругу!»

Послышались одобрительные восклицания; затем поднялся Тюилье и воскликнул:

— Господа, за короля и королевскую фамилию!.. Больше я ничего не прибавлю, мой тост говорит сам за себя.

— За избрание моего брата! — сказала мадемуазель Тюилье.

— Я вас сейчас рассмешу, — прошептал ла Перад на ухо Флавии.

Он встал и звонко выкрикнул:

— За женщин! За прелестный пол, которому мы обязаны нашим блаженством, не говоря уже о том, что мы ему обязаны своими матерями, сестрами и супругами!..

Этот тост вызвал всеобщее оживление, и Кольвиль, который уже был навеселе, завопил:

— Негодяй! Ты украл мою мысль!

Затем поднялся мэр, и воцарилось глубокое молчание.

— Господа, за наши общественные учреждения! Ведь именно они составляют силу и величие династической Франции!

Бутылки опустошались с головокружительной быстротой, и соседи обменивались восторженными восклицаниями, вызванными неслыханным гостеприимством хозяйки и изысканностью вин.

Селеста Кольвиль робко попросила:

— Мама, разрешите и мне предложить тост...

Добрая девушка давно уже следила за растерянным лицом своей крестной матери, всеми забытой хозяйки дома, которая с выражением какой-то собачьей преданности переводила взгляд с физиономии своей грозной невестки на физиономию Тюилье, словно самозабвенно вопрошала их, как себя вести. Радость, освещавшая это лицо рабыни, привыкшей сознавать свое ничтожество, скрывать мысли, подавлять чувства, походила на сияние зимнего солнца, подернутого дымкой: она словно нехотя озаряла увядшие, расплывшиеся черты. Чепчик из газа, украшенный темными цветами, небрежная прическа, светло-коричневое платье, золотая цепочка на шее, мало что менявшая в этом скромном наряде, — все, вплоть до манеры держать себя, усиливало привязанность юной Селесты к этой женщине, обреченной на вечное молчание, понимавшей все, что творится вокруг, и страдавшей из-за этого, находя себе утешение лишь в общении с богом и с нею, Селестой, которая одна в целом свете знала ей истинную цену.

— Пусть она предложит свой тост, — тихо сказал ла Перад г-же Кольвиль.

— Говори, доченька! — крикнул Кольвиль. — Нам предстоит еще выпить бутылку славного выдержанного вина Эрмитаж!

— За мою милую крестную! — проговорила девушка, почтительно поднимая свой бокал и протягивая его к г-же Тюилье.

Несчастная женщина испуганно переводила полные слез глаза с мужа на его сестру: ее положение в семье было всем хорошо известно, и почтение, которое Невинность оказала Слабости, заключало в себе нечто столь возвышенное, что все невольно почувствовали волнение; мужчины встали и разом поклонились г-же Тюилье.

— Милая Селеста, будь у меня королевство, я с радостью положил бы его к вашим ногам! — воскликнул Феликс Фельон, обращаясь к девушке.

Отец его утирал слезу, даже Дюток был растроган.

— Какое прелестное дитя! — проговорила мадемуазель Тюилье, подходя к невестке и обнимая ее.

— Ко мне! — крикнул Кольвиль, становясь в позу атлета. — Внимание! За дружбу! Осушайте бокалы! Наполняйте бокалы! Отлично! За изящные искусства, этот цвет общественной жизни! Осушайте бокалы! Наполняйте бокалы! За такой же праздник на следующий день после выборов!

— А что это у вас за заветная бутылочка?.. — спросил Дюток у мадемуазель Тюилье.

— Это одна из имеющихся в нашем доме трех бутылок ликера госпожи Амфу. Вторую мы откупорим на свадьбе Селесты, а последнюю — на крестинах ее первого ребенка.

— Положительно, сестра потеряла голову, — шепнул Тюилье Кольвилю.

Обед закончился тостом, предложенным Тюилье; тост этот подсказал ему Теодоз, когда малага, разлитая по рюмкам, засверкала в них, как рубин.

— Господа, Кольвиль выпил *за дружбу*. Я же пью это благородное вино *за моих друзей!..*

Эти прочувствованные слова были встречены громкими криками «ура». Воспользовавшись шумом, Дюток не преминул сказать Теодозу:

— Просто преступление вливать такое вино в их луженые глотки...

— Ах, если бы можно было изготовлять во Франции подобное вино, друг мой! — вскричала жена мэра, с шумом тянувшая из своей рюмки испанский ликер. — Какое славное состояние можно было бы себе сколотить!..

Зели окончательно опьянела, на ее багровое лицо страшно было смотреть.

— Ну, наше состояние уже сколочено! — ответил Минар.

— Как вы думаете, сестрица, — обратилась Бригитта к г-же Тюилье, — не подать ли нам чай в гостиную?..

Вместо ответа г-жа Тюилье поднялась из-за стола.

— Ах, вы великий чародей! — сказала Флавия Кольвиль де ла Пераду, который предложил ей руку, чтобы проводить в гостиную.

— И моя единственная мечта, — ответил молодой человек, — очаровать вас. Поверьте, я полностью вознагражден: сегодня вы еще более восхитительны, чем всегда!

— Подумать только, — сказала она, не принимая вызова, — Тюилье, наш Тюилье возомнил себя политическим деятелем.

— Моя дорогая, половина смешных положений и смехотворных поступков, с которыми мы сталкиваемся в обществе, — плод подобных интриг, часто сам человек не так уж в этом виновен. Во многих семьях, как вы, верно, сами не раз наблюдали, муж, дети, друзья убеждают хозяйку дома, глупее которой трудно сыскать, что она кладезь мудрости, или матрону лет сорока пяти, что она молода и хороша собой!.. Отсюда и возникают странности в поведении, не объяснимые для людей, непричастных к этой игре. Нередко встречаешь мужчин, обязанных своим отвратительным самомнением рабскому обожанию любовницы, или же чванных рифмоплетов, которых продажные льстецы убедили, будто они великие поэты. В каждом роду есть свой выдающийся человек, и общество поэтому уподобляется палате, где вечно царит полумрак, хотя там находятся светочи Франции... Ну и что ж? Люди умные, глядя на это, посмеиваются, вот и все. Вы олицетворяете ум и красоту в этом маленьком буржуазном мирке, вот почему я поклоняюсь вам, как божеству. Но моя заветная мысль — вырвать вас отсюда, ибо я вас искренне люблю. Правда, в моем чувстве больше дружбы, нежели любви, хотя и любви тут примешалось немало, — прибавил он и, пользуясь тем, что оконная ниша скрывала их от любопытных взглядов, нежно прижал Флавию к груди.

— Госпожа Фельон, не угодно ли вам сесть за фортепьяно? — сказал Кольвиль. — Сегодня здесь все должно пуститься в пляс: бутылки, монеты, бренчащие в кармане мадемуазель Бригитты, и наши славные дочки! Я, пожалуй, схожу за кларнетом.

При этих словах он подал жене чашку, из которой только что пил кофе, и улыбнулся, видя, что между Флавией и Теодозом установилось полное согласие.

— Что вы сделали с моим мужем? — спросила Флавия у своего соблазнителя.

— Должен ли я вам открыть нашу тайну?

— Значит, вы меня не любите? — проговорила она, взглянув на него с едва скрытым кокетством женщины, почти решившейся идти до конца.

— Ну, коль скоро и вы мне станете открывать все ваши тайны, — продолжал он весело, словно охваченный неудержимым порывом южанина, с виду таким естественным и очаровательным, — то и я не стану скрывать от вас ничего из того, что лежит у меня на сердце...

Он вновь увлек ее в оконную нишу и сказал, улыбаясь:

— Бедняга Кольвиль разглядел во мне артиста, притесняемого всеми этими буржуа, молчащего в их присутствии из страха, что его не поймут, дурно истолкуют, изгонят. Зато он ощутил жар священного огня, пылающего в моей груди. Кстати, — продолжал Теодоз, и в его голосе прозвучала глубокая убежденность, — я и в самом деле артист, когда дело доходит до красноречия, артист в духе Беррье[[63]](#footnote-63): я могу заставить плакать присяжных, заплакав сам, ибо я нервен, как женщина. И вот ваш муж, презирающий всех этих буржуа, вышучивал их вместе со мной, мы буквально уничтожали их смехом, и он нашел, что моя ирония не уступает его собственной. Я посвятил его в наш план касательно Тюилье, я дал ему понять, какую пользу может принести ему сей политический манекен. «Ради одного того, — сказал я, — чтобы стать господином де Кольвилем и тем самым позволить вашей очаровательной жене занять подобающее место в обществе, вам следует получить место генерального сборщика налогов, а затем сделаться депутатом. Для этого вам достаточно будет прожить лет восемь в департаменте Верхних или Нижних Альп, в каком-нибудь захолустном городе, где все вас будут любить и где ваша жена очарует всех... И такая возможность будет к вашим услугам, особенно если вы отдадите свою милую Селесту в жены человеку, способному приобрести влияние в Палате...» Аргументы, изложенные в шутливой форме, действуют на некоторых людей куда сильнее, чем если с ними говорят серьезно. Так что отныне мы с Кольвилем закадычные друзья. Разве вы не слышали, как он крикнул мне за столом: «Негодяй! Ты украл мою мысль»? Нынче вечером мы с ним станем говорить друг другу «ты»... Затем какая-нибудь небольшая история, в которую неизменно впутываются артисты, находящиеся на дружеской ноге — а уж я его впутаю в такую историю! — сделает нас и впрямь друзьями, он, пожалуй, станет видеть во мне друга, более близкого ему, чем сам Тюилье, ибо я уже успел шепнуть нашему дражайшему Кольвилю, что Тюилье просто лопнет от зависти, если увидит у него в петлице еще одну орденскую розетку... Видите, моя дорогая и обожаемая Флавия, какой энергией наполняет человека глубокое чувство! Ведь нужно было, чтобы Кольвиль открыл мне доступ в свое сердце, чтобы я мог бывать у вас с его согласия!.. Я все готов сделать ради вас — лизать язвы прокаженных, глотать живых жаб, соблазнить Бригитту! Да, я бы пронзил себе грудь этой тростью, если бы она могла послужить мне костылем, который помог бы мне дотащиться до ваших дверей и пасть к вашим ногам!

— Этим утром вы меня просто испугали, — прошептала Флавия.

— Но вечером вы уже не испытываете тревоги?.. Да, — прибавил он с силой, — пока я с вами, вам не угрожает никакая беда.

— О, вы человек необыкновенный, я это признаю!..

— Вовсе нет! Все мои поступки — и самые значительные и самые незаметные — лишь отблески пламени, зажженного вами в моей груди, я хочу стать вашим зятем, чтобы мы никогда больше не разлучались... Моя жена, да простит мне бог, будет лишь машиной, производящей детей, но высшим существом, моей богиней будешь ты! — прошептал он на ухо Флавии.

— Вы просто сатана! — проговорила она в ужасе.

— Нет, но я немного поэт, как все мои земляки. Прошу вас, будьте моей Жозефиной[[64]](#footnote-64)!.. Завтра в два часа я приду к вам домой, меня снедает пылкое желание увидеть ложе, на котором вы спите, кресла, в которых вы отдыхаете, цвет обивки вашей спальни, увидеть, как расположены вещи, окружающие вас, — словом, полюбоваться жемчужиной в ее раковине!..

Произнеся эту ловкую тираду, он удалился, даже не дождавшись ответа.

Флавия, с которой ни разу в жизни влюбленные в нее мужчины не разговаривали столь страстным языком, каким разговаривают только в романах, испытывала полную растерянность; но она была счастлива и, прислушиваясь к быстрому биению сердца, беззвучно шептала себе, что не поддаться влиянию такого мужчины выше сил человеческих. В тот вечер Теодоз впервые облачился в новые панталоны, серые шелковые чулки и открытые туфли; на нем был черный шелковый жилет и черный атласный галстук, украшенный весьма изысканной булавкой. Наряд его довершал новый фрак, сшитый по последней моде, и желтые перчатки, гармонировавшие с ослепительно белыми манжетами. В салоне, где с каждым часом прибавлялись все новые и новые гости, он был единственным человеком с хорошими манерами, умевшим безукоризненно себя держать.

Госпожа Прон, урожденная Барниоль, пришла в сопровождении двух своих пансионерок, семнадцатилетних девиц, доверенных ее материнской заботе их семьями, жившими на острове Бурбон и острове Мартиника. Г-н Прон, преподаватель риторики в коллеже, которым руководили священники, был человеком того же круга, что и Фельоны. Однако в отличие от них он не выставлял себя напоказ, не сыпал афоризмами и сентенциями, не старался служить примером для подражания; он держался сухо и чопорно. Г-н и г-жа Прон, служившие украшением гостиной Фельонов, принимали по понедельникам, с Фельонами их связывало общее родство с Барниолями. Прон был небольшого роста, он недурно танцевал и не считал это зазорным для своего положения. Прославленная репутация пансиона мадемуазель Лаграв, с которой супруги Фельон поддерживали знакомство уже больше двадцати лет, еще больше укрепилась, когда этим заведением начала руководить мадемуазель Барниоль, самая умелая и опытная из воспитательниц. Г-н Прон пользовался большим влиянием в той части квартала, что расположена между бульваром Монпарнас, Люксембургским садом и Севрской дорогой. Вот почему, едва завидя своего друга, Фельон, не обинуясь, взял его под руку и увлек в угол, чтобы посвятить в планы, связанные с выдвижением кандидатуры Тюилье; после десятиминутной беседы они отправились на поиски Тюилье, и оконная ниша, находившаяся против той, где все еще стояла Флавия, стала, без сомнения, свидетельницей трио, в своем роде достойного трио швейцарцев из оперы «Вильгельм Телль».

— Вы только полюбуйтесь на интриги нашего достопочтенного Фельона! — сказал Флавии вновь подошедший Теодоз. — Сумейте только уговорить честного человека, и он отлично будет прибегать к самым недостойным методам, ибо, в конечном счете, наш уважаемый приятель убеждает маленького Прона, а тот покорно дает себя убедить исключительно в интересах Феликса Фельона, занимающего в этот миг внимание вашей прелестной Селесты... По-моему, вам пора их разлучить... Они уже минут десять вместе, а сын Минара ходит вокруг, как обозленный бульдог.

Феликс все еще находился под глубоким впечатлением благородного поступка Селесты, этого простодушного крика ее души, хотя никто, за исключением г-жи Тюилье, об этом уже не помнил; молодой человек невольно проявил наивную хитрость, которую мы назвали бы благородным лукавством истинной любви; надо заметить, что оно было ему непривычно: как всякий математик, он был невероятно рассеян. Итак, Феликс направился к г-же Тюилье, верно предположив, что Селеста непременно подойдет к ней: глубокий расчет глубокой любви! Девушка была тем более признательна Феликсу, что адвокат Минар, которого интересовало лишь приданое, даже не подумал подойти к ее крестной матери и спокойно попивал кофе, беседуя о политике с Лодижуа, Барниолем и Дютоком; молодой человек выполнял приказание отца, уже думавшего о новых выборах в Палату: они должны были произойти в 1842 году.

— Разве можно не любить Селесту! — сказал Феликс г-же Тюилье.

— Милая девочка, только она одна во всем свете и любит меня! — отвечала на это рабыня, с трудом сдерживая слезы.

— О, нет, сударыня, мы оба вас любим, — возразил простодушный Матье[[65]](#footnote-65), приветливо улыбаясь.

— О чем это вы беседуете? — спросила Селеста, подходя к крестной матери.

— Дитя мое, — ответила богобоязненная женщина, привлекая к себе крестницу и целуя ее в лоб, — господин Феликс сказал, что вы оба любите меня и будете обо мне заботиться...

— Не сердитесь за такое пророчество, мадемуазель, — проговорил вполголоса будущий кандидат в Академию наук, — и позвольте мне сделать все, чтобы оно исполнилось!.. Ничего не поделаешь, я таков: несправедливость глубоко возмущает меня!.. О, спаситель был совершенно прав, пообещав рай кротким духом, невинным агнцам, приносящим себя в жертву!.. Всякий человек, если бы даже он вас не любил, Селеста, став свидетелем вашего возвышенного душевного порыва нынче за столом, проникся бы к вам обожанием! Да, только невинности дано утешать мучеников!.. Вы милая, хорошая девушка и станете одной из тех женщин, которые составляют одновременно и славу и счастье своей семьи. Счастлив тот, кто вам понравится!

— Дорогая крестная, вы только подумайте, в каком розовом свете видит меня господин Феликс!..

— Он воздает тебе должное, мой ангелочек, и я буду молиться богу за вас обоих...

— Если б вы только знали, Селеста, как я рад, что мой отец может оказать услугу господину Тюилье... И как бы я хотел быть полезен вашему брату!..

— Стало быть, вы любите всю нашу семью? — спросила девушка.

— О да! — с жаром ответил Феликс.

Истинная любовь всегда облекается в оболочку стыдливости, она страшится пышных выражений, ибо и без того красноречиво заявляет о себе: такая любовь не нуждается в фейерверке, в отличие от показной любви, и внимательный наблюдатель, окажись он в гостиной Тюилье, мог бы написать целую книгу, сравнив две противоположные сцены и нарисовав гигантские приготовления Теодоза и простоту Феликса; один из молодых людей был воплощением природы, другой — воплощением общества, искренность и притворство противостояли друг другу. Заметив восторженное состояние дочери, на чьем лице легко было прочесть душевное волнение, увидя, как прелестная девушка стала еще прелестнее и вся расцвела, выслушав первое косвенное признание в любви, Флавия ощутила укол ревности; она подошла к Селесте и прошептала ей на ухо:

— Вы нехорошо себя ведете, дочь моя, на вас все смотрят, и вы себя компрометируете, разговаривая так долго наедине с г-ном Феликсом, даже не спросясь, хотим ли мы этого.

— Но, мама, ведь здесь же крестная.

— Ах, простите, моя милая, — сказала г-жа Кольвиль г-же Тюилье, — я вас и не заметила...

— Вы поступаете, как и все остальные, — произнес Иоанн Златоуст[[66]](#footnote-66).

Слова эти задели г-жу Кольвиль, она вздрогнула, будто в ее грудь впилась зазубренная стрела; бросив на Феликса высокомерный взгляд, она сказала Селесте: «Садись сюда, дочка» — и, усевшись возле г-жи Тюилье, указала дочери на соседний стул.

— Я буду работать до полного изнеможения, — сказал Феликс г-же Тюилье, — но стану членом Академии наук, ибо слава поможет мне добиться ее руки.

«Ах, мне нужен был вот такой муж, такой спокойный и мягкий человек, как он! — подумала бедная г-жа Тюилье. — Мне так по душе скромная, незаметная жизнь в тиши... Господи, ты этого не захотел, окажи же свое покровительство двум этим детям и соедини их судьбы! Ведь они созданы друг для друга!»

Она погрузилась в глубокую задумчивость, машинально прислушиваясь к ужасающему шуму, который подняла ее невестка: неутомимая Бригитта помогала двум служанкам убирать со стола, чтобы освободить столовую для танцев; при этом ее голос гремел, напоминая своими раскатами голос капитана фрегата, который стоит на капитанском мостике и отдает приказания к атаке: «Есть ли у нас еще настойка из смородины? Подите и купите оршад!» После минутной паузы снова слышалось: «Бокалов не хватит, напитков мало, принесите шесть бутылок простого вина, которое я велела достать из погреба. Да проследите, чтобы привратник Коффине его не вылакал!.. Каролина, ты, моя милая, оставайся у буфета!.. Если танцы затянутся до часу ночи, надо будет подать ветчину. Соблюдайте умеренность, внимательно за всем следите. Передайте мне метелочку... Налейте масла в лампы... А главное, ничего не разбейте... Остатки от десерта надо тоже пустить в дело, поставьте их на буфет! Любопытно, придет ли в голову моей сестрице помочь нам? И о чем она только думает, эта рохля?.. Господи, до чего же она медлительна!.. Стулья унесите — будет больше места для танцев».

В гостиной было полным-полно: тут можно было увидеть и Барниолей, и Кольвилей, и Лодижуа, и Фельонов, и всех тех, кого привлек сюда слух, что у Тюилье в тот день танцуют; слух этот распространился по Люксембургскому саду между двумя и четырьмя часами дня, то есть именно тогда, когда там прогуливались буржуа квартала.

— Готово, милый друг? — спросил Кольвиль, врываясь в столовую. — Ведь уже девять часов, и в вашей гостиной людей, что сельдей в бочке. Явился даже Кардо с женой, сыном, дочерью и будущим зятем, они прихватили с собой и молодого помощника прокурора, этого Винэ, так что, можно сказать, присутствует и Сент-Антуанское предместье. Мы перетащим сюда фортепьяно из гостиной, хорошо?

И Кольвиль заиграл на кларнете; веселые трели были приняты людьми, теснившимися в гостиной, как призывный сигнал и встречены громким «ура».

Стоит ли подробно описывать такого рода бал? Костюмы, лица, речи — все здесь было в полном соответствии с небольшой деталью, которая много говорит живому воображению, ибо во всяком деле факт незначительный, но яркий и характерный порою все определяет. Гостям на балу предлагали бокалы с чистым вином, с вином, разбавленным водою, и просто со сладкой водой. На подносах, местами изрядно облупившихся, разносили также бокалы с оршадом и различными настойками, и все эти напитки поглощались с головокружительной быстротой. В гостиной расставили пять карточных столов, за ними сидели двадцать пять игроков, танцевали девять пар одновременно. В час ночи гости затеяли контрданс, именуемый в просторечии *«Булочница»*; в этой кадрили участвовал Дюток, на голове у него красовался тюрбан из полотенца, напоминавший тот, что носят кабилы[[67]](#footnote-67); в общий танец были вовлечены и г-жа Тюилье, и мадемуазель Бригитта, и г-жа Фельон, и даже сам папаша Фельон. Слуги, ожидавшие своих господ, пришедших в гости к Тюилье, а также слуги самого Тюилье с любопытством глазели на танцующих; нескончаемая кадриль продолжалась больше часа, и когда Бригитта пригласила всех немного подкрепиться, гости готовы были ее качать; однако осмотрительная хозяйка успела припрятать дюжину бутылок старого бургундского вина. Приглашенные веселились от души, почтенные матроны не отставали от юных девиц, и Тюилье, в конце концов, заявил:

— Подумать только, еще нынче утром нам и в голову не приходило, что вечером у нас состоится такой веселый праздник!..

— Нигде не получаешь столько удовольствия, — заявил нотариус Кардо, — как на импровизированных балах. Я терпеть не могу званых вечеров, где все держат себя необыкновенно чопорно!

Подобное мнение служит почти аксиомой в буржуазных кругах.

— А я, — пробормотала захмелевшая госпожа Минар, — отвечу вам песенкой: «Я люблю папашу, я люблю мамашу!..»

— Господин Кардо, разумеется, не имел вас в виду, сударыня, ведь ваш дом — излюбленный приют удовольствий, — сказал Дюток.

Едва кадриль окончилась, Дюток направился к буфету и принялся уписывать ветчину; подошедший Теодоз насильно увел его, говоря:

— Нам пора идти, ведь завтра на рассвете мы должны быть у Серизе, он обещал дать необходимые сведения о занимающем нас деле, кстати сказать, оно не так просто, как полагает Серизе.

— Это еще почему? — спросил Дюток, не переставая жевать ветчину даже на пороге гостиной.

— Вы что ж, не знаете законов?.. Я-то их достаточно знаю, чтобы предвидеть все опасности, связанные с этой аферой. Если нотариус сам хочет купить дом, а мы выхватим у него из-под носа лакомый кусочек, он может накинуть цену и оттяпать у нас добычу, для этого ему достаточно прибегнуть к помощи любого из зарегистрированных кредиторов. По действующему ныне ипотечному праву, если дом продается по требованию одного из кредиторов и сумма, вырученная за него на торгах, недостаточна, чтобы удовлетворить всех кредиторов, они имеют право потребовать новых торгов и продать дом дороже. Так что, если нам даже удастся провести нотариуса, он может назавтра спохватиться.

— Ты прав! — воскликнул Дюток. — Ну что ж, повидаемся с Серизе.

Слова «повидаемся с Серизе» услышал адвокат Минар, шедший позади приятелей, но для него фраза эта не имела никакого смысла. Дюток и Теодоз были так далеки от него, от его жизненного пути и его планов, что он не вникал в смысл их речей.

— Вот один из самых великолепных дней в нашей жизни, — сказала Бригитта брату, когда в половине третьего утра они оказались вдвоем в опустевшей гостиной. — Какая честь, когда тебя единодушно избирают своим кандидатом сограждане!

— Не заблуждайся, Бригитта, мы обязаны всем этим, дорогая, одному человеку.

— Кому же?

— Нашему другу ла Пераду...

Дом, куда направились не в понедельник, а лишь во вторник утром Дюток и Теодоз, ибо письмоводитель напомнил адвокату, что Серизе отсутствовал по воскресеньям и понедельникам, потому что оба эти дня народ посвящал развлечениям и к процентщику не приходил ни один клиент, — дом этот столь же необходим для воссоздания облика предместья Сен-Жак, как дома Тюилье и Фельона. Никто не знает (правда, еще не создана комиссия для изучения этого явления), повторяем, никто не знает, почему кварталы города Парижа приходят в упадок и запустение как в отношении архитектуры, так и в отношении нравственности. Каким образом квартал Люксембург и Латинский квартал, где помещаются дворцы и церкви, дошли до того состояния, в котором мы их видим сегодня? Ведь тут находится один из самых красивых дворцов в мире, тут дерзко возносится к небу купол церкви святой Женевьевы и купол Валь-де-Грас, созданный Мансаром, тут расположен полный очарования Зоологический сад! Почему элегантность уходит из нашей жизни? Почему дома, подобные домам вдовы Воке, Фельона, Тюилье, почему различные пансионаты растут, как грибы, оттесняя на задний план дворцы Стюартов, кардиналов Миньона и Дюперрона? Почему грязь, засоряющие все вокруг промыслы и нищета завладевают центральной частью столицы, вместо того чтобы располагаться поодаль от старого и благородного города?..

После смерти ангела во плоти, чью благотворительность благословляли жители квартала, здесь пышным цветом распустилось самое низкопробное ростовщичество. На смену советнику Попино пришел Серизе. И, странная вещь (о ней следовало бы поговорить подробно в другом месте!), результаты, с точки зрения социальной, мало чем отличались друг от друга. Попино давал в долг без процентов и заранее шел на возможные потери; Серизе никогда ничего не терял, заставляя тем самым несчастных трудиться, не жалея сил, и набираться ума-разума. Бедняки обожали Попино, но и к Серизе они не питали ненависти. Тут мы сталкиваемся с работой последнего колесика парижской финансовой машины. Наверху — банкирские дома Нусингена, Келлера, дю Тийе, Монжено; чуть ниже — ростовщики типа Пальмá, Жигонне, Гобсека; еще ниже — такие дельцы, как Саманон, Шабуассо, Барбе; затем — городской ломбард, этот король ростовщичества, расставляющий свои силки на каждом углу, чтобы ловить жертвы нищеты, не давая спастись ни одной; и, наконец, в самом низу — Серизе.

Сюртук со шнурами возвещал о том, что в этом логове обитает бывший участник коммандитного товарищества и человек, хорошо известный шестой палате.

Дом, где он жил, был словно изъеден селитрой, стены, покрытые зелеными пятнами, казалось, запотели и издавали зловоние, как и сами неопрятные ростовщики. Он помещался на углу улицы Пуль; тут же находился погребок торговца вином; это третьеразрядное заведение было выкрашено снаружи в ярко-красный цвет, на окнах, забранных толстыми решетками, висели занавески из красного коленкора, а внутри помещалась стойка, обитая листом свинца.

Над входом в отвратительный подъезд раскачивался уродливый фонарь с надписью: *«Меблированные комнаты»*. Стены были отмечены железными крестами, говорившими о ветхости строения, принадлежавшего торговцу вином; он занимал половину нижнего этажа и антресоли. Меблированные комнаты содержала вдова г-на Пуаре, в девичестве Мишоно; они располагались на втором, третьем и четвертом этажах, и жили в них бедные студенты.

Серизе занимал две комнаты — одну в первом этаже и одну на антресолях: он попадал в нее по внутренней лестнице, выходившей окнами в ужасный мощеный двор, откуда поднимались зловонные запахи. Серизе платил сорок франков в месяц г-же Пуаре, и она кормила его за это завтраком и обедом; таким образом, он угождал и домохозяйке, живя у нее на пансионе, и торговцу вином, которому он поставлял огромную клиентуру; еще до восхода солнца клиенты Серизе осушали не одну бутылку с горячительным и оставляли у кабатчика немало денег. Г-н Кадене открывал свое заведение раньше, чем его сосед Серизе, начинавший финансовые операции по вторникам — в три часа утра летом и в пять часов утра зимой.

Столь раннее начало его ужасного промысла определялось часом открытия Центрального рынка, куда затем направлялось большинство клиентов и клиенток Серизе. Г-н Кадене во внимание к этой клиентуре, которой он целиком был обязан Серизе, брал со своего драгоценного жильца, занимавшего две комнаты, всего лишь восемьдесят франков в год; домовладелец подписал с ним арендный договор, заключенный на двенадцать лет с таким условием, что Серизе мог каждые три месяца расторгнуть его, не уплачивая неустойки. Кадене самолично приносил каждый день бутылку превосходного вина и вручал ее Серизе перед обедом; когда жилец оказывался на мели, ему достаточно было только сказать своему приятелю: «Кадене, одолжи мне сто экю». Правда, он исправно возвращал взятые взаймы деньги.

Кадене, по слухам, получил надежное доказательство, что вдова Пуаре в свое время вручила Серизе две тысячи франков, после чего дела экспедитора пошли в гору, ибо, переехав в этот квартал, он располагал лишь тысячефранковым кредитным билетом да покровительством Дютока. Кадене, чья алчность возрастала по мере того, как успешно развивалась его торговля, предложил в начале года двадцать тысяч франков своему другу Серизе. Тот отказался под тем предлогом, что он, мол, действует вместе с компаньоном и неосторожная финансовая операция может послужить причиной их ссоры.

— Он согласится взять ваши деньги из шести процентов годовых, — сказал он Кадене, — а они принесут вам больше дохода, если вы сами пустите их в дело... Мы с вами войдем в компанию позднее, когда подвернется что-нибудь действительно выгодное, однако подходящий случай обычно требует капитала не меньше, чем в пятьдесят тысяч франков. Вот когда у вас на руках будет такая сумма, мы поговорим...

Серизе сообщил Теодозу о возможности выгодно приобрести дом, только убедившись, что даже вместе с г-жой Пуаре и Кадене ему никогда не набрать ста тысяч франков.

Ростовщик чувствовал себя в полной безопасности в своем логове, где, если бы в этом была необходимость, он всегда мог рассчитывать на помощь. Бывали дни, когда сюда на рассвете приходило не меньше шестидесяти или даже восьмидесяти клиентов, мужчин и женщин; они наполняли винный погребок, толпились в коридоре, рассаживались на ступенях лестницы, недоверчивый Серизе впускал к себе в кабинет не больше шести человек за раз. Приходя, люди устанавливали очередь, и она двигалась в порядке номеров; виноторговец и его официант писали номера мелом: у мужчин — на полях шляп, а у женщин — прямо на спине.

Часто стоявшие впереди уступали за деньги свою очередь пришедшим позднее, подражая кучерам фиакров. В иные дни, когда важно было попасть на Центральный рынок как можно раньше, передний номер ценился в стакан водки и одно су. Клиент, выходивший из кабинета Серизе, приглашал следующего по очереди; если возникали споры, Кадене быстро пресекал их, говоря:

— Чего вы добьетесь, если на шум явится стража или полиция! *Он* прикроет лавочку, вот и все.

Все знали, что *он* — это Серизе. Когда днем какая-нибудь несчастная женщина, у которой в доме не было ни куска хлеба, видя, что дети вот-вот умрут с голода, прибегала в полном отчаянии, чтобы раздобыть десять или двадцать су, она спрашивала у виноторговца или у старшего официанта:

— *Он* здесь?

Кадене, толстый низенький человек, одетый в синий костюм с нарукавниками из черной материи, в переднике, какой носят кабатчики, в фуражке на голове, представлялся такой несчастной матери ангелом небесным, ибо он обычно отвечал:

— *Он* сказал мне, что вы честная женщина, и велел передать вам сорок су. Как быть дальше, сами знаете...

И происходило невероятное: *его* благословляли, как некогда благословляли Попино!

В воскресенье утром, подсчитывая расходы, люди во всем Париже проклинали Серизе; они проклинали его и в субботу, когда из полученных за работу денег приходилось возвращать ему долг и проценты! Но со вторника и до пятницы он был для бедняков провидением, богом.

Комната, где жил Серизе, некогда служившая кухней для обитателей второго этажа, была почти пуста; потолочные балки, выбеленные известью, до сих пор оставались закопченными. Стены, вдоль которых были расставлены скамьи, и плитки из песчаника, заменявшие паркет, впитывали, а затем выделяли влагу. Камин, от которого еще сохранился навес, уступил место железной печке, где Серизе в холодные дни жег каменный уголь. Под каминным колпаком находился квадратный помост, возвышавшийся на полфута над полом, тут стоял дощатый стол, стоивший не больше франка, и деревянное кресло с круглой плоской подушкой из зеленой кожи. Стена за спиной Серизе была обшита досками. Возле стола стояла ширма из неструганого дерева, она защищала хозяина комнаты от ветра, дувшего в окно и в дверь; эта двустворчатая ширма, однако, пропускала теплый воздух, струившийся из печки. К окнам были приделаны с внутренней стороны огромные ставни, обитые железом и закладывавшиеся металлическим брусом. Дверь была также обита железом.

В глубине комнаты, в углу, виднелась винтовая лестница, некогда помещавшаяся в полуразрушенном складе на улице Шапон, который приобрел в свою собственность Кадене; он установил эту лестницу на антресолях, но по требованию Серизе всякое сообщение со вторым этажом было прекращено, и дверь, выходившую на площадку, замуровали. Таким образом, жилище это превратилось в крепость. В верхней комнате, принадлежавшей Серизе, было немного мебели: ковер, купленный за двадцать франков, узкая кровать, комод, два стула, стол и железная касса в виде секретера с великолепным замком, приобретенная по случаю. Серизе брился перед каминным зеркалом; у него были две смены постельного белья из коленкора, шесть перкалевых рубашек, вся остальная его одежда также была сшита из дешевого материала. Однако раз или два Кадене встретил Серизе в весьма элегантном наряде: ростовщик, по-видимому, хранил в нижнем ящике комода праздничный костюм, который позволял ему посещать Оперу и бывать в свете; парадный костюм делал Серизе неузнаваемым, и, не распознай его Кадене по голосу, он бы спросил: «Чем могу служить?»

Больше всего *клиентам* нравились в Серизе его веселый нрав и остроумные ответы, он говорил на понятном им языке. Кадене, два его официанта и Серизе, жившие в самом сердце нищеты, всегда сохраняли спокойствие, подобно тому, как могильщики сохраняют спокойствие среди плачущих родственников или старые сержанты — среди мертвецов; они бесстрастно выслушивали голодные вопли и отчаянные крики, подобно тому, как хирурги бесстрастно выслушивают стоны пациентов; по примеру солдат и санитаров, Кадене и Серизе лишь изредка роняли ничего не значащие фразы: «Надо немного потерпеть, побольше мужества!», «К чему так убиваться? Вы себя уморите, а какой в этом толк?..», «Ко всему привыкают, надо быть рассудительным» и так далее.

Серизе осмотрительно прятал деньги, необходимые для утренних операций, в двойное сиденье кресла, он вынимал оттуда за раз не больше ста франков и распихивал их по карманам; свои денежные фонды он пополнял лишь в промежутке между двумя группами просителей, запирая дверь и отпирая ее лишь после того, как деньги были вновь разложены по карманам; но то была излишняя предосторожность: ему нечего было опасаться доведенных до отчаяния людей, которые приходили сюда с различных концов Парижа, чтобы перехватить немного деньжат. Как известно, существуют различные формы честности и добродетели, и в основе нашей «Монографии о добродетели» лежит сия социальная аксиома. Если человек поступает против совести, открыто нарушает общепринятые правила поведения, не всегда следует велениям чести, это еще не значит, что он не достоин никакого уважения; если он даже человек бесчестный, это еще не значит, что его можно отправить в исправительную полицию. Если он вор, это еще не значит, что он подсуден суду присяжных; и, наконец, если он даже осужден судом, он может еще пользоваться уважением на каторге, придерживаясь тех своеобразных законов чести, которые преступники соблюдают в своей среде и согласно которым нельзя выдавать товарища, надо справедливо делить добычу, следует подвергаться тем же опасностям, что и твои сообщники. Так вот, именно эта форма честности, представляющая собою, возможно, лишь скрытый расчет, лишь необходимость, подчиняясь которой человек способен сохранить остатки величия и последние шансы вернуться к добру, царила в отношениях между Серизе и его клиентами. Никогда ростовщик не прибегал к обману, не прибегали к нему и бедняки: ни он, ни они не пытались оспаривать размеры долга и процентов. Случалось, что Серизе, кстати сказать, и сам происходивший из низов, исправлял невольно допущенную им ошибку и делал это в интересах какого-нибудь несчастного, хотя тот о ней даже не подозревал. Вот почему клиенты считали ростовщика собакой, но честной собакой; его слово в этой юдоли печали почиталось священным. Однажды какая-то женщина, взявшая у него тридцать франков, умерла, так и не уплатив долга.

— Вот мои барыши, — сказал он собравшимся клиентам, — а вы меня поносите на всех перекрестках. Но, как бы то ни было, я не стану терзать малышей!..

И Кадене отнес сиротам хлеба и дешевого вина. После этого случая, в котором расчет сыграл немалую роль, обитатели двух предместий говорили о Серизе:

— Нет, он человек не злой!..

Мелкое ростовщичество, которым занимался Серизе, что бы там ни говорили, представляет собою меньшее зло, чем городской ломбард. Серизе давал во вторник десять франков при условии, что в воскресенье утром ему отдадут двенадцать. Таким образом за пять недель он удваивал капитал, но зато шел на различные послабления. Он простирал свою доброту до того, что иногда взыскивал с должника лишь одиннадцать франков пятьдесят сантимов; бывало, что ему подолгу не платили процентов. Кроме того, одалживая пятьдесят франков торговцу фруктами в надежде получить за них шестьдесят или ссужая сотней франков продавца торфа, который должен был возвратить сто двадцать франков, Серизе рисковал своими деньгами.

Миновав улицу Пост и достигнув улицы Пуль, Теодоз и Дюток увидели большую толпу мужчин и женщин, освещенную неярким светом фонарей лавки виноторговца; приятели невольно ужаснулись при виде всех этих людей с красными, морщинистыми, накрашенными, увядшими, удрученными горем лицами; некоторые были лысые, другие — с давно нечесанными волосами, были тут и пьяницы, раздувшиеся от чрезмерного пристрастия к вину, попадались и такие, кого иссушило злоупотребление ликерами; одни кому-то угрожали, другие хранили покорный и безразличный вид, эти зубоскалили, те отпускали шуточки, а третьи сидели с тупым выражением лица; и все без исключения были одеты в такие неописуемые лохмотья, что ни один рисовальщик с самой причудливой фантазией не мог бы воспроизвести их на бумаге.

— Меня тут узнáют! — воскликнул Теодоз, увлекая Дютока в сторону. — Мы совершили глупость, придя к Серизе в самый разгар его занятий...

— Согласен! Тем более, что мы не подумали вот о чем: Клапарон спит где-то в его логове, внутреннее расположение которого нам неизвестно. Послушайте, то, что неудобно вам, вполне удобно мне, я могу запросто прийти переговорить со своим экспедитором, и я приглашу его отобедать с нами: утром у нас в суде заседание, и позавтракать вместе нам будет нельзя. Давайте назначим свидание в «Хижине»[[68]](#footnote-68), в одном из кабинетов, выходящих в сад...

— Не годится! Там нас могут подслушать, а мы этого даже не заметим, — возразил адвокат. — Я предпочитаю «Пти Роше де Канкаль»: можно будет занять отдельный кабинет и разговаривать вполголоса.

— А если вас увидят там в обществе Серизе?

— В таком случае пойдем в «Шеваль-Руж», на набережную де ла Турнель.

— Это уже лучше. Итак, в семь часов, там в такое время никого не бывает.

И Дюток двинулся один в самую гущу своеобразного конгресса нищих; он слышал, как то один, то другой из них повторял его имя, ибо среди толпы ему трудно было не встретить людей, приходивших к мировому судье, как Теодозу трудно было не встретить тут кого-нибудь из своих клиентов.

В бедных кварталах мировой судья — верховный судия, все спорные вопросы решаются в его камере, особенно с тех пор, как закон передал в ведение мировых судов рассмотрение всех тяжб, сумма иска в которых не превышает ста сорока франков. Бедняки боятся письмоводителя суда не меньше самого судьи, вот почему все опасливо расступались перед Дютоком. На ступеньках лестницы сидели женщины, напоминая собой пеструю выставку цветов, устроенную в установленных в виде амфитеатра витринах; встречались среди них и молодые, и старые, и смертельно бледные, и больные. Разноцветные косынки, чепчики, платья и передники делали сравнение с выставкой цветов, пожалуй, даже более точным, чем надлежит быть сравнению. Открыв дверь в комнату Серизе, Дюток едва не задохнулся: через это помещение уже прошло не меньше шестидесяти человек, и каждый оставил тут свой запах.

— Ваш номер? Какой у вас номер? — послышались возгласы со всех сторон.

— Да замолчите вы, дурачье, — донесся с улицы хриплый голос, — это писарь мирового судьи!

Воцарилось гробовое молчание. Дюток застал своего экспедитора в жилетке из желтой кожи — такой же, из какой изготовляют перчатки жандармов; из-под нее выглядывал вязаный шерстяной жилет довольно жалкого вида. Воображение поможет читателю нарисовать болезненное лицо человека, чья безволосая шея высовывалась из этой своеобразной скорлупы: голова его была повязана шелковым платком, закрывавшим часть лба и придававшим физиономии Серизе одновременно и отвратительный и устрашающий вид; впечатление это усиливал мигавший огонек свечи, оплывавшей в дешевом подсвечнике.

— Нет, так у нас ничего не получится, папаша Лантимеш, — говорил Серизе рослому старику лет семидесяти, который переминался перед ним с ноги на ногу, стискивая в руке колпак из красной шерсти, снятый им с лысой головы.

Сквозь распахнутую, изрядно поношенную рабочую блузу старика можно было увидеть голую грудь, поросшую седыми волосами.

— Вы уж скажите мне, зачем вам такие деньги, — продолжал ростовщик. — Давая сто франков, даже в расчете получить за них сто двадцать, я должен знать, что вы затеваете. Подобную сумму не швыряют на ветер, это не собака, что кидается в любую подворотню...

Пятеро остальных клиентов, среди которых были две кормящие матери, причем одна что-то вязала, а другая держала ребенка у груди, расхохотались.

Увидя Дютока, Серизе почтительно встал и быстро направился ему навстречу, бросив на ходу:

— У вас есть время подумать. Повторяю, меня весьма смущает, зачем понадобилось сто франков старику — совладельцу слесарной мастерской.

— Ну, а если речь идет об изобретении! — воскликнул старый рабочий.

— И вы думаете довести его до конца с жалкой сотней франков!.. Вы ничего не смыслите в делах, тут потребуется не меньше двух тысяч франков, — вмешался Дюток. — Ведь нужен патент, нужны покровители...

— Это верно, — подтвердил Серизе, уже давно мечтавший о таком случае. — Вот что, папаша Лантимеш, приходите-ка завтра часов в шесть утра, и мы потолкуем. Коли речь идет об изобретении, следует говорить без свидетелей...

Когда Серизе подошел к Дютоку, тот быстро сказал ему:

— Если дело стоящее, я вхожу в долю!..

— Вы что ж, поднялись на заре только для того, чтобы сообщить мне об этом? — спросил недоверчивый Серизе, уже выведенный из себя словами «я вхожу в долю». — Ведь вы могли бы дождаться нашей встречи в канцелярии.

И он искоса поглядел на Дютока; тот сбивчиво, мешая правду с вымыслом, заговорил о Клапароне и о необходимости более энергично заняться делами Теодоза. Затем он вышел, назначив свидание Серизе.

— Вы вполне могли бы дождаться, пока я приду утром в канцелярию суда, — повторил Серизе, провожая Дютока к двери.

— Вот еще один, — пробормотал он, возвращаясь к столу. — Думается, он наводит тень на плетень и старается сбить меня с толку... Ну, что ж, если надо будет, я плюну на должность экспедитора... А, это вы, кумушка?! — воскликнул он. — Вы, как я вижу, тоже изобретаете, но только... Детей... Хоть это занятие и не новое, но весьма забавное!

Вряд ли стоит подробно останавливаться на встрече трех компаньонов, тем более, что все то, о чем они условились, было затем пересказано Теодозом мадемуазель Тюилье. Необходимо только заметить, что ловкость, выказанная ла Перадом, почти испугала Серизе и Дютока; банкир бедняков начал даже подумывать о том, не пора ли ему выйти из игры, ибо партнеры оказались слишком сильными игроками. Любой ценой оказаться в выигрыше, одержать верх над самыми ловкими, не останавливаясь даже перед плутовством, — вот честолюбивое стремление, присущее всем истинным друзьям зеленого сукна. Это замечание объяснит читателю, почему ла Перада ожидал вскоре ужасный удар.

Впрочем, адвокат хорошо знал людей, с которыми ему приходилось иметь дело. И поэтому он играл в присутствии обоих своих сообщников роль, утомлявшую его едва ли не больше, чем постоянное напряжение всех душевных сил и ума, которого требовала от него многоликая натура и многообразная деятельность. Дюток был великим плутом, а Серизе некогда играл в комедиях, оба умели притворяться на славу. Бесстрастный лик в духе Талейрана не мог служить подходящей маской для провансальца, люди, в чьих когтях он находился, быстро бы его раскусили, и поэтому ему приходилось изображать добродушного, доверчивого, откровенного малого, а это — высшее искусство. Держать в заблуждении публику может любой хороший актер, но обмануть мадемуазель Марс, Фредерика Леметра, Потье, Тальмá, Монроза способен только выдающийся артист.

Вот почему после пресловутого совещания в ресторане ла Перада, столь же проницательного, как и Серизе, мучил тайный страх; игра подходила к концу, и страх этот временами леденил ему кровь, бросал то в жар, то в холод, Теодоз уподоблялся игроку, который, поставив последнюю ставку, лихорадочно следит взглядом за вертящимся шариком рулетки. В такие минуты чувства человека приобретают необычайную остроту, а ум работает с такой головокружительной быстротой, с какой работает ум ученого, расширяющего границы человеческого познания.

На следующий день после беседы со своими компаньонами адвокат отправился обедать к Тюилье; под тем предлогом, что им следует нанести визит г-же де Сен-Фондриль, супруге знаменитого ученого, с которой они хотели ближе познакомиться, Тюилье увел жену из дому и оставил Теодоза наедине с Бригиттой. Ни сам Тюилье, ни его сестра, ни Теодоз не заблуждались относительно истинного смысла этой комедии, однако бывший красавец времен Империи пышно именовал свой поступок «дипломатическим».

— Молодой человек, не злоупотребляй невинностью моей сестры, относись к ней с должным почтением, — торжественно изрек Тюилье перед уходом.

— Скажите, мадемуазель, — начал Теодоз, придвигая свое кресло к глубокому креслу, в котором сидела Бригитта, занятая вязанием, — вы уже подумали о том, что следует расположить коммерсантов нашего округа в пользу Тюилье?..

— Но как это сделать? — спросила Бригитта.

— Насколько мне известно, вы поддерживаете деловые отношения с Барбе и Метивье.

— Ах, вы совершенно правы!.. Клянусь честью, вас разиней не назовешь! — сказала она после короткого молчания.

— Когда любишь людей, стараешься им услужить! — наставительно ответил Теодоз с почтением в голосе.

Нелегкая битва, которую Теодоз вел вот уже почти два года, вступала в решающую фазу: победить подозрительность старой девы было для него столь же важно, как для Наполеона овладеть важнейшим редутом под Москвой. Он должен был околдовать Бригитту так, как дьявол, по мнению людей, живших в средние века, околдовывал свою жертву; иначе говоря, ему надо было добиться того, чтобы она никогда не смогла высвободиться из-под его чар. Уже три дня кряду ла Перад обдумывал эту задачу и хорошо понимал все ее трудности. Лесть — самое надежное средство в руках ловкого человека — была бессильна в отношении старой девы, которая давно уже избавилась от всяких иллюзий. Но для человека с несгибаемой волей не существует непреодолимых преград, и люди, подобные Ламарку[[69]](#footnote-69), всегда найдут способ овладеть своим островом Капри. Вот почему мы полагаем невозможным что-либо опустить из поучительной сцены, разыгравшейся в тот вечер, в ней все важно: паузы, потупленные взоры, многозначительные взгляды, модуляции голоса...

— Но вы уже представили немало доказательств своей любви к нам, — заметила Бригитта.

— Ваш брат говорил с вами?..

— Нет, он только предупредил меня, что вы собираетесь о чем-то со мной переговорить...

— Да, мадемуазель, ибо вы — всему дому голова. Однако, поразмыслив хорошенько, я пришел к выводу, что дело это чревато для меня большими опасностями. Так компрометировать себя можно лишь ради близких. Речь идет о целом состоянии, о тридцати или даже о сорока тысячах франков годового дохода, причем это не какая-нибудь там спекуляция... а недвижимое имущество!.. Необходимость раздобыть состояние для Тюилье навела меня на мысль... Такое желание как бы зачаровывает, я ему говорил... Ведь каждый, если он только не дурак, обязательно спросит себя: «Из-за чего он так хлопочет? Почему стремится делать нам добро?» И вот я разъяснил вашему брату, что, действуя в его интересах, я, смею надеяться, действую и в своих собственных. Для того, чтобы стать депутатом, совершенно необходимы две вещи: надо уплачивать ценз и надо чем-нибудь прославить свое имя. И если я из преданности помышляю о том, чтобы помочь Тюилье написать книгу о государственном кредите или еще о чем-нибудь в этом роде... то мне следует также подумать и о его состоянии... А потому вам совершенно не к чему отдавать ему дом...

— Не к чему отдавать его брату?.. Да я завтра же переведу дом на его имя! — воскликнула Бригитта. — Вы меня плохо знаете...

— Я вас, конечно, недостаточно знаю, — подтвердил ла Перад, — но многое мне о вас известно, и я сожалею, что с самого начала не посоветовался с вами, это следовало сделать сразу же после того, как я замыслил план, с помощью которого Тюилье будет избран муниципальным советником. Ведь уже завтра у него появятся завистники, нам предстоит нелегкая задача, надо внести замешательство в ряды соперников, выбить у них из рук оружие!

— Но вы говорили о деле, — остановила Теодоза Бригитта, — в чем же заключаются трудности, связанные с ним?

— Мадемуазель, трудности эти нравственного порядка... Я смогу служить вам с чистой совестью лишь после того, как побеседую со своим исповедником... Что же касается юридической стороны, о, тут вы можете быть совершенно спокойны: дело вполне законное, как вам известно, я принадлежу к корпорации парижских адвокатов, нравы там весьма строгие, и я никогда в жизни не предложил бы вам ничего предосудительного... Одно только меня внутренне успокаивает: ведь сам я не зарабатываю на всем этом ни гроша...

Бригитта сидела, как на угольях, лицо ее пылало, она разматывала и вновь наматывала клубок, не зная, как ей следует отнестись к словам Теодоза.

— В наше время, — сказала она, — недвижимость должна стоить по меньшей мере миллион восемьсот франков для того, чтобы она приносила годовой доход в сорок тысяч франков...

— Ну, а я вам обещаю показать дом, причем вы сами определите, сколько дохода он будет приносить, и я намерен сделать Тюилье владельцем этого дома за пятьдесят тысяч франков.

— Вот что я вам скажу, — воскликнула Бригитта, приходя в крайнее волнение, вызванное пробудившейся в ней алчностью, — если вы только этого добьетесь, то тогда, мой любезный господин Теодоз...

Она остановилась.

— Что же тогда, мадемуазель?

— Тогда, возможно, окажется, что вы хлопотали в своих собственных интересах...

— Ну, если Тюилье выдал мою тайну, я покидаю ваш дом.

Бригитта удивленно подняла голову.

— Он вам сказал, что я люблю Селесту?

— Нет, клянусь девичьей честью! — вырвалось у Бригитты. — Но я собиралась сама заговорить о ней.

— Вы намеревались предложить мне ее руку?.. О, да простит нам бог! Я хочу, чтобы она сама, вместе со своими родителями, пришла к этому решению и остановила выбор на мне... Нет, нет, молю вас только об одном: будьте благосклонны ко мне и не отказывайте в своем покровительстве... Я хочу, чтобы вы, как и Тюилье, пообещали в качестве единственной награды за мою преданность ваше влияние и вашу дружбу. Скажите, что вы станете относиться ко мне, как к сыну... И тогда я спрошу совета у вас... И поступлю так, как вы решите, даже не буду обращаться к исповеднику. Признаюсь, я уже два года внимательно изучаю членов семьи, в которую намерен войти, принеся вместо состояния свою энергию... ибо я выбьюсь в люди! Так вот, я убедился, что вам присуща честность, какой в нынешнем поколении не встретишь, что вы обладаете здравыми и непоколебимыми взглядами... Вы хорошо разбираетесь в делах, и очень приятно, когда в близких тебе людях есть все эти качества... С такой тещей, как вы, я был бы избавлен от множества мелких домашних забот, которые, если ими приходится заниматься, отвлекают человека от политической деятельности... Не скрою, я по-настоящему любовался вами в воскресенье вечером... Ах, вы были просто великолепны! Как быстро вы справились со всем! Не прошло и десяти минут, а столовая была уже готова для танцев... И как вы только умудрились, не выходя из дому, приготовить столько прохладительных напитков и такой превосходный ужин... «Вот, — сказал я себе, — женщина незаурядной энергии!..»

Ноздри Бригитты раздувались, она вдыхала аромат лести, которой были пропитаны слова молодого адвоката; взглянув на нее искоса, Теодоз убедился в своей победе. Ему удалось затронуть чувствительную струну в сердце старой девы.

— Ах! Просто я привыкла вести дом, для меня это дело знакомое, — пробормотала она.

— Я стану вопрошать вашу чистую, ничем не запятнанную совесть! — продолжал Теодоз. — О, этого будет вполне достаточно!

Он встал с кресла, затем снова сел и проговорил:

— Вот в чем суть нашего дела, дорогая тетушка... ибо вы в каком-то смысле будете моей тетушкой...

— Замолчите, проказник! — потребовала Бригитта. — Говорите о деле...

— Я буду с вами откровенен и стану называть вещи своими именами. Заметьте, что, поступая так, я компрометирую себя, ибо эти тайны стали мне известны в силу моего положения адвоката... Мы с вами вместе, можно сказать, совершаем своего рода служебное преступление! Некий парижский нотариус стакнулся с одним архитектором, они приобрели земельные участки и начали там строить дома. И вот тут-то компаньоны потерпели крах... Они ошиблись в расчетах... Впрочем, нас это мало интересует... Среди домов, выстроенных этой незаконной компанией, ибо нотариусы не имеют права участвовать ни в каких деловых начинаниях, есть один, он не закончен и поэтому пойдет за четверть цены, его продадут тысяч за сто, хотя земля и строения обошлись бывшим владельцам в добрых четыреста тысяч франков. Дом почти готов, осталось лишь завершить внутреннюю отделку, ее стоимость нетрудно подсчитать, к тому же все нужные материалы уже лежат у подрядчиков, и они уступят их по дешевке, так что придется израсходовать дополнительно не больше пятидесяти тысяч франков. Он так выгодно расположен, что после уплаты налогов станет приносить не меньше сорока тысяч франков годового дохода. Дом целиком построен из тесаного камня, его внутренние стены сложены из песчаника, фасад украшен роскошной скульптурой, она обошлась в двадцать тысяч франков. Окна в нем из зеркального стекла, а задвижки на окнах новой системы, их называют *шпингалеты*.

— Все это прекрасно, но в чем же трудность?

— Вот в чем: нотариус надумал сохранить для себя столь лакомый кусочек пирога, уплывающего у него из рук, для этого он воспользовался помощью одного из друзей, оказавшихся в числе заимодавцев, которые потребовали продать строение и земли с торгов ввиду банкротства владельцев. Было решено не доводить дело до суда, чтобы не уплачивать крупных судебных издержек, продажа состоится на основе полюбовного соглашения. И тогда нотариус, решивший приобрести дом в собственность, обратился к одному из моих клиентов, которого он задумал сделать своим подставным лицом. А мой клиент — человек бедный — все рассказал мне. Вот его слова: «Речь идет о целом состоянии, если выхватить его из-под носа у нотариуса...»

— В коммерции такое происходит сплошь да рядом!.. — быстро сказала Бригитта.

— Если бы вся трудность сводилась к этому, — продолжал Теодоз, — тут можно было бы ответить так, как один из моих друзей ответил своему ученику, который жаловался, что, дескать, очень трудно создавать шедевры живописи. «Ах, мой мальчик, — сказал он, — кабы дело обстояло иначе, то любой лакей малевал бы картины!» Видите ли, мадемуазель, если нам и удастся провести этого ужасного нотариуса, который, поверьте, вполне того заслуживает, ибо он разорил немало порядочных людей, то обмануть его во второй раз будет необычайно трудно, так как он человек весьма проницательный, хотя и нотариус. Когда недвижимое имущество продается с торгов, заимодавцы, если они недовольны вырученной суммой и считают, что понесут слишком большие убытки, имеют право в течение определенного срока предложить более высокую цену и сохранить недвижимость за собой. Если мы не сможем перехитрить этого хитреца и заставить его пропустить срок, во время которого он имеет право набавить цену и таким образом приобрести дом, нам придется придумать какую-нибудь новую ловушку. Но это уже выходит за рамки законности... Имею ли я право пойти на такой шаг даже в интересах семьи, членом которой рассчитываю стать?.. Вот о чем я вопрошаю себя уже третий день...

Бригитта, надо сознаться, заколебалась, и тогда Теодоз пустил в ход свой последний козырь.

— У вас есть целая ночь для размышлений, завтра мы снова обо всем потолкуем...

— Послушайте, дитя мое, — проговорила Бригитта, глядя на адвоката почти влюбленными глазами, — прежде всего надо бы посмотреть дом. Где он находится?

— Возле церкви Мадлен! Через десять лет там будет центр Парижа! Если вы помните, люди думали об этих участках уже в тысяча восемьсот девятнадцатом году! Состояние банкира дю Тийе связано с этой аферой... Пресловутое банкротство нотариуса Рогена[[70]](#footnote-70), которое наделало столько шума в Париже, нанесло тяжелый удар престижу корпорации нотариусов и послужило причиной гибели известного парфюмера Бирото, также связано с нею. Но земельными участками вздумали спекулировать слишком рано.

— Я припоминаю эти события, — заметила Бригитта.

— Дом, вне всякого сомнения, можно будет закончить к концу года, а в середине будущего года вы уже сумеете сдавать квартиры внаем.

— Можем ли мы завтра туда поехать?

— Милая тетушка, я весь к вашим услугам.

— Да, вот что! Не называйте меня, пожалуйста, так в присутствии посторонних... Что касается дела, — продолжала она, — то нельзя ничего сказать, пока не увидишь дом...

— Дом шестиэтажный, у него девять окон по фасаду, прекрасный двор, четыре лавки, он расположен на перекрестке. О, нотариус знает толк в таких вещах! Да, кстати, могут произойти различные политические события, и государственная рента, как и остальные ценные бумаги, полетит кувырком. Будь я на вашем месте, я бы продал все ценные бумаги, принадлежащие госпоже Тюилье и вам, а на вырученные деньги приобрел для Тюилье прекрасный дом. А затем обратил бы все будущие сбережения на то, чтобы восстановить состояние этой святоши... Разве можно рассчитывать, что курс государственной ренты будет выше, чем сегодня? Сто двадцать два! Ведь это просто баснословная цифра, торопитесь же.

Бригитта облизывала губы: перед ней открывалась возможность сохранить свой капитал и обогатить брата за счет состояния его жены.

— Тюилье совершенно прав, — сказала она Теодозу, — вы редкий человек и далеко пойдете...

— Он пойдет к славе впереди меня! — ответил Теодоз с простодушием, тронувшим сердце старой девы.

— Вы станете членом нашей семьи, — проговорила она.

— Я предвижу немало препятствий, — возразил Теодоз, — госпожа Тюилье немного взбалмошна, она меня не любит.

— Ну, хотела бы я посмотреть, посмеет ли она пикнуть! — вырвалось у Бригитты. — Давайте делать дело, если только его можно сделать, — продолжала она, — а уж о ваших интересах я сама позабочусь.

— Тюилье, член генерального совета, владелец дома, приносящего свыше сорока тысяч франков годового дохода, награжденный орденом, автор серьезного и важного политического труда... станет депутатом во время выборов в палату тысяча восемьсот сорок второго года. Но, согласитесь сами, милая тетушка, что такую преданность, какую выказываю я, можно испытывать лишь к будущему тестю...

— Вы правы.

— Не скрою, у меня нет состояния, но зато я удвою ваше. Если это дело пройдет гладко, я найду еще такие же...

— Пока не увижу своими глазами дом, — заявила старая дева, — я ничего не могу сказать...

— Отлично! Наймите завтра коляску и поедем. Утром у меня будет разрешение на осмотр.

— До завтра, в полдень, — ответила Бригитта, протягивая Теодозу руку в знак того, что они пришли к соглашению.

Однако адвокат запечатлел на ней такой нежный и вместе с тем такой почтительный поцелуй, какой еще ни разу в жизни не выпадал на долю старой девы.

— Прощайте, дитя мое! — проговорила она, когда Теодоз выходил из комнаты.

Бригитта быстро позвонила и, когда на пороге показалась одна из служанок, приказала ей:

— Жозефина, немедленно ступайте к госпоже Кольвиль и попросите ее пожаловать ко мне.

Через четверть часа Флавия уже входила в гостиную, по которой старая дева прохаживалась в лихорадочном возбуждении.

— Моя дорогая, вы должны оказать мне большую услугу, она будет иметь значение и для нашей прелестной Селесты... Вы знакомы с Туллией, танцовщицей Оперы, в свое время брат прожужжал мне о ней все уши...

— Я знакома с ней, дорогая Бригитта. Но она уже давно не танцовщица, теперь она графиня дю Брюэль. Ее муж — пэр Франции!..

— Привязана ли она к вам по-прежнему?

— Мы уже много лет не встречаемся...

— Неважно! Насколько мне известно, богатый подрядчик Шаффару доводится ей дядей, — продолжала старая дева. — Он богат и стар. Поезжайте к вашей давнишней приятельнице и получите у нее записочку к дяде, пусть она черкнет ему, что он окажет ей большую услугу, если даст вам дружеский совет, за которым вы к нему обратитесь, а мы с вами завтра заедем к нему в час дня. Но только пусть она попросит его держать все в глубочайшем секрете! Поезжайте, дитя мое! Наша милая Селеста будет миллионершей и получит из моих рук — слышите, из моих рук! — мужа, а он уж поможет ей занять подобающее место в свете.

— Хотите, я назову вам первую букву его имени?

— Попытайтесь...

— Теодоз де ла Перад! И вы совершенно правы, этот человек, опираясь на поддержку такой женщины, как вы, способен стать министром!..

— Сам господь бог послал его нам! — воскликнула старая дева.

В эту минуту из гостей возвратились г-н и г-жа Тюилье.

Пять дней спустя, в начале апреля, в газете «Монитер» было опубликовано извещение, приглашавшее жителей принять двадцатого апреля участие в избрании члена муниципального совета. Такие же извещения были расклеены на стенах зданий. Вот уже месяц, как пришло к власти правительство, получившее наименование «Министерства первого марта»[[71]](#footnote-71). Бригитта пребывала в отличнейшем настроении, она убедилась в справедливости утверждений Теодоза. Папаша Шаффару осмотрел дом сверху донизу и признал его шедевром зодчества: бедняга Грендо, архитектор, тесно связанный с нотариусом и Клапароном, полагал, что старается для своей пользы; дядюшка г-жи дю Брюэль, решив, будто он действует в интересах своей племянницы, заявил, что с тридцатью тысячами франков он закончит дом. Поэтому уже целую неделю Бригитта смотрела на ла Перада как на божество; с простодушным цинизмом она всячески доказывала ему, что нельзя упускать состояние, которое само плывет в руки.

— Ну что ж, — говорила она адвокату, увлекая его в глубь сада, — если тут и есть небольшой грех, вы позднее покаетесь в нем своему исповеднику...

— Послушай, дружище! — воскликнул подошедший Тюилье, — какого черта ты колеблешься, ведь речь идет о твоих будущих родственниках...

— Я, конечно, решусь на это, — отвечал ла Перад взволнованным голосом, — но поставлю вам определенные условия. Я не хочу, чтобы мое стремление жениться на Селесте приписывали жадности и алчности... Если уж мне суждено испытывать из-за вас угрызения совести, постарайтесь по крайней мере, чтобы в глазах посторонних я оставался таким, каков я есть. Старина Тюилье, ты запишешь дом, который я тебе добуду, на имя Селесты, но без права пользования доходами.

— Это справедливо...

— Я не желаю, чтобы вы тратились, — продолжал Теодоз, — и пусть милая тетушка помнит об этом при подписании брачного договора. Все наличные деньги, которые у вас останутся, поместите в государственные бумаги и приобретите их на имя госпожи Тюилье, пусть она делает с ними что угодно. Я хочу, чтобы мы жили одной семьей; если я буду спокоен за свое будущее, то уж поверьте, сумею составить себе состояние!

— Это мне по душе! — вскричал Тюилье. — Вот речи порядочного человека.

— Позвольте мне запечатлеть на вашем лбу поцелуй, дитя мое, — сказала старая дева. — Но так как приданое все-таки необходимо, то мы дадим за Селестой шестьдесят тысяч франков.

— Они пойдут ей на наряды, — сказал ла Перад.

— Мы все трое — люди чести, — заявил Тюилье. — Все сказано, вы поможете нам довести до конца дело с домом, потом мы совместно напишем мой политический труд, и вы добьетесь моего награждения орденом...

— Это так же надежно, как то, что к первому мая вы будете муниципальным советником! Но только, мой добрый друг, и вы, милая тетушка, храните наш договор в глубочайшей тайне и не обращайте внимания на клевету, жертвой которой я сделаюсь, как только те, которых я оставлю в дураках, обрушатся на меня... Ведь я, должен вас заранее предупредить, прослыву и проходимцем, и плутом, и опасным человеком, и иезуитом, и честолюбцем, и ловцом состояний... Сумеете ли вы сохранить спокойствие перед лицом подобных обвинений?

— Ни о чем не тревожьтесь, — ответила Бригитта.

С этого дня Тюилье сделался *добрым другом*. Так называл его Теодоз, причем голос его выражал столько оттенков нежности и любви, что Флавия только диву давалась. Но слова *«милая тетушка»*, так ласкавшие слух Бригитты, произносились лишь в семейном кругу Тюилье и только иногда — в присутствии Флавии; при посторонних Теодоз лишь изредка нашептывал их на ухо Бригитте. Деятельность, которую развили Теодоз, Дюток, Серизе, Барбе, Метивье, Минары, Фельоны, Лодижуа, Кольвиль, Прон, Барниоль и все их друзья, была поистине беспримерной. Люди и видные и малозаметные приложили руку к делу. Кадене завербовал в своем квартале тридцать голосов, причем за семерых избирателей, не знавших грамоты, он собственноручно заполнил бюллетени. Тридцатого апреля Тюилье был избран членом генерального совета департамента Сены подавляющим большинством голосов: лишь шестьдесят человек не голосовали за него. Первого мая Тюилье вместе с другими членами муниципалитета отправился в Тюильри поздравить короля с днем рождения; он возвратился оттуда сияющий. Подумать только: он вступил во дворец вслед за Минаром!

Десять дней спустя желтые афиши возвестили о продаже пресловутого дома, стоимость которого была определена в семьдесят пять тысяч франков; торги должны были состояться в конце июля. В связи с этим между Клапароном и Серизе произошла беседа, в ходе которой Серизе пообещал Клапарону, разумеется, на словах, сумму в пятнадцать тысяч франков, если тот сумеет добиться, чтобы нотариус пропустил срок, когда можно повысить цену на дом. Мадемуазель Тюилье, предупрежденная Теодозом, полностью примкнула к этому тайному соглашению, поняв, что необходимо заплатить участникам низкого заговора. Деньги Серизе должен был передать достойный адвокат. Глубокой ночью Клапарон встретился на площади Обсерватуар со своим сообщником — нотариусом, чья контора по решению дисциплинарной палаты парижских нотариусов была уже назначена к продаже, но пока еще оставалась непроданной.

Этот нотариус, молодой человек, преемник Леопольда Аннекена, задумал обогатиться с головокружительной быстротой: он еще не потерял надежду на лучшее будущее и принимал все меры, чтобы его обеспечить. В этих видах он решил купить за десять тысяч франков возможность выйти незапятнанным из грязной аферы: деньги он обещал вручить Клапарону только после того, как фиктивный владелец дома подпишет дарственную на его, нотариуса, имя. Молодой человек знал, что сумма эта представляет собою весь капитал Клапарона, который должен послужить бедняге средством поправить дела; поэтому он был уверен в своем сообщнике.

— Кто еще в Париже способен заплатить мне такую огромную сумму в качестве комиссионного вознаграждения? — сказал Клапарон нотариусу. — Так что спите себе спокойно. Я подыщу на роль подставного лица человека порядочного, но недалекого, которому и в голову не придет подложить нам свинью. У меня на примете один отставной чиновник, вы ему дадите деньги для уплаты за дом, а он подпишет дарственную на ваше имя.

Когда стало ясно, что нотариус заплатит Клапарону не больше десяти тысяч, Серизе предложил своему бывшему компаньону двенадцать тысяч, потребовав с Теодоза пятнадцать; однако про себя Серизе решил, что Клапарону хватит и трех тысяч. Беседы, происходившие между этими четырьмя людьми, были сдобрены прекраснодушными словами о высоких чувствах и неподкупной честности, заверениями в том, что те, кому суждено заниматься общими делами, должны помогать друг другу. Пока происходила вся эта подспудная деятельность в интересах Тюилье, которому Теодоз обо всем рассказывал, подчеркивая свое глубочайшее отвращение к столь низким интригам, оба приятеля обдумывали будущий великий труд *доброго друга*; мало-помалу член генерального совета департамента Сены проникся убеждением, что он никогда ничего бы не достиг без помощи гениального человека, чей ум приводил его в восхищение и чьи таланты поражали его. С каждым днем в душе Тюилье росло желание сделать Теодоза своим зятем. Поэтому начиная с мая месяца адвокат не реже четырех раз в неделю обедал в обществе своего *доброго друга*.

В эту пору Теодоз полновластно царил в семействе Тюилье, все друзья дома отзывались о нем с похвалой. И вот почему. Фельоны, слыша комплименты по адресу адвоката, на которые Бригитта и Тюилье не скупились, боялись вызвать неудовольствие этих важных особ, хотя комплименты порой казались им преувеличенными и неуместными. То же происходило и с Минарами. Впрочем, поведение ла Перада было безупречным, он обезоруживал самых подозрительных тем, что держал себя скромно и незаметно. В гостиной он не поднимал голоса, не вступал в разговоры, и Фельоны, как и Минары, решили, что Бригитта и Тюилье измерили и взвесили шансы Теодоза и нашли их слишком легковесными, а на него самого смотрели как на молодого человека, могущего при случае оказаться полезным.

— Бедняга надеется, что моя сестра упомянет его в завещании, — сказал однажды Тюилье Минару. — Он ее плохо знает.

Эта фраза, придуманная Теодозом, успокоила подозрительного Минара.

— Конечно, он нам очень предан, — заметила как-то старая дева, беседуя с Фельоном, — но ведь и он нам многим обязан: мы не берем с него за жилье, и он чуть ли не ежедневно обедает у нас...

Слова, сказанные старой девой по наущению Теодоза, стали достоянием всех семей, посещавших салон Тюилье, и рассеяли последние опасения насчет Теодоза; сам адвокат подтверждал суждения, высказанные Тюилье и его сестрой, ибо вел себя с подобострастием прихлебателя. За игрой в вист он поправлял промахи своего *доброго друга*. Когда Тюилье или его сестра изрекали какие-нибудь мещанские благоглупости, он улыбался с благоговейным и туповатым видом, достойным самой г-жи Тюилье.

Адвокат уверенно шел к цели, он совершенно спокойно относился к презрению соперников, они даже служили ему удобной ширмой. На протяжении четырех месяцев он напоминал змею, которая сохраняет полную неподвижность, медленно переваривая добычу. Вот почему он порою убегал в сад с Кольвилем или с Флавией, чтобы немного посмеяться, сбросить маску, отдохнуть от притворства и собраться с силами; его напряжение находило выход в нервических порывах страсти, обращенных к будущей теще, которую эти порывы одновременно пугали и трогали.

— Неужели вам не жаль меня? — спрашивал он Флавию накануне торгов, на которых Тюилье приобрел дом за семьдесят пять тысяч франков. — Такой человек, как я, должен ступать крадучись, точно кошка, глотать слетающие с языка эпиграммы, таить в себе желчь!.. И в довершение всего сносить ваши отказы!

— Друг мой, дитя мое!.. — лепетала Флавия в полном отчаянии.

Эти восклицания, подобно термометру, указывают, до какого накала довел ловкий актер свою интрижку с Флавией. Бедная женщина разрывалась между голосом сердца и велениями морали, между требованиями религии и таинственным зовом страсти.

Между тем юный Феликс Фельон с преданностью и усердием, достойными высшей похвалы, давал уроки сыну Кольвиля; он не жалел времени, полагая, что действует в интересах своей будущей семьи. Чтобы как-то отблагодарить его за внимание, Кольвили по совету Теодоза каждый четверг приглашали преподавателя математики к обеду, в этот день у них неизменно обедал и адвокат. Флавия дарила Феликсу то вышитый ею кошелек, то домашние туфли, то портсигар, и молодой человек, вне себя от счастья, восклицал:

— Я и без того вознагражден, сударыня, той радостью, какую черпаю в сознании, что могу быть вам полезен...

— Мы не богаты, сударь, — отвечал Кольвиль, — но, черт побери, мы не хотим быть неблагодарными!

Старик Фельон довольно потирал руки, слушая рассказы сына, возвращавшегося с обедов у Кольвилей: он уже видел своего дорогого, своего благородного Феликса супругом Селесты...

Однако чем больше Селеста любила Феликса, тем строже и сдержаннее она вела себя с ним; помимо всего прочего, это объяснялось тем, что однажды вечером мать, отчитав ее, сказала:

— Не подавайте никакой надежды сыну Фельона, дочь моя. Ни ваш отец, ни я не можем выдать вас замуж по собственному выбору, ведь не мы даем вам приданое. Вам надо думать не о том, чтобы понравиться преподавателю, у которого нет ни гроша за душой, а о том, чтобы упрочить ту привязанность, какую питают к вам мадемуазель Бригитта и ваш крестный отец. Если ты не хочешь убить свою мать, мой ангел, да, да, убить меня... то следуй, не рассуждая, моим советам и твердо помни, что мы прежде всего печемся о твоем счастье.

Как уже говорилось, торги были назначены на конец июля; за месяц до этого Теодоз посоветовал Бригитте привести в порядок денежные дела, и она продала все ценные бумаги, принадлежавшие ей самой и ее невестке. Все помнят вошедший в историю договор четырех держав, прозвучавший как оскорбительный вызов для Франции, но мы считаем уместным напомнить катастрофическое падение государственной ренты, имевшее место в июле — августе 1840 года и вызванное перспективой войны, развязать которую требовал господин Тьер[[72]](#footnote-72); курс ренты упал на двадцать франков, и трехпроцентная рента шла по шестидесяти франков при номинальной цене в сто франков. Но это еще не все: финансовый крах оказал влияние на стоимость недвижимости в Париже, она упала в цене, и все те, кто продавал, вынуждены были отдавать дешевле. Эти события сделали Теодоза в глазах Бригитты и Тюилье истинным пророком, гениальным человеком. В конечном счете Тюилье стал владельцем дома, за который он заплатил на торгах семьдесят пять тысяч франков. Нотариус, чье положение еще больше пошатнулось в связи с политическим кризисом и чья контора была к тому времени уже продана, счел необходимым уехать на несколько дней из города, захватив с собой десять тысяч франков, предназначенных для Клапарона. По совету Теодоза Тюилье поручил Грендо закончить дом, что архитектор и сделал, полагая, что он по-прежнему работает на нотариуса; все последнее время на постройке ничего не делалось, рабочие сидели сложа руки, и архитектор с тем большей охотой принялся заканчивать свое любимое детище.

За двадцать пять тысяч франков он покрыл позолотой четыре гостиных!.. Теодоз потребовал, чтобы в счетах вместо этой суммы была указана сумма в пятьдесят тысяч франков. Дом, приобретенный Тюилье, во много раз умножил его вес в обществе. Что касается нотариуса, то он совсем потерял голову перед лицом политических событий, обрушившихся на него, как гром среди ясного неба. Уверенный в своем будущем владычестве, черпая силу в сознании, что он оказал столько услуг, приобретая все большее влияние на Тюилье благодаря труду, который они вместе писали, пользуясь все возраставшим расположением Бригитты, которой нравилась сдержанность молодого человека, ни разу не упомянувшего о своих материальных затруднениях и даже не заикнувшегося о деньгах, Теодоз вел себя отныне менее подобострастно, чем раньше. Однажды Бригитта и Тюилье сказали ему:

— Ничто не может лишить вас нашего уважения, чувствуйте себя здесь, как дома. Мнение Минара и Фельона, которых вы почему-то побаиваетесь, интересует нас не больше, чем какая-нибудь строфа из стихотворения Виктора Гюго, а потому пусть себе болтают... Подымите голову!

— Эти люди еще нужны нам для избрания Тюилье в Палату депутатов, — ответил Теодоз. — Следуйте и впредь моим советам, ведь вы находите их разумными, не так ли? Когда дом будет окончательно принадлежать вам, станет ясным, что он достался чуть ли не даром, ибо вы сможете приобрести по шестидесяти франков стофранковую ренту, приносящую три процента дохода, на имя госпожи Тюилье и таким образом восстановить ее состояние в прежних размерах... Дождитесь только, пока кончится срок, во время которого заимодавцы имеют право повысить цену на дом, и держите наготове пятнадцать тысяч франков для наших мошенников.

Бригитта не стала ждать: она собрала все свои капиталы, за исключением суммы в сто двадцать тысяч франков, и, чтобы восстановить состояние невестки в прежних размерах, приобрела на двести сорок тысяч франков трехпроцентную ренту на имя г-жи Тюилье. Рента эта приносила годовой доход в размере двенадцати тысяч франков; такую же ренту, приносившую десять тысяч франков дохода, она приобрела на свое имя, дав себе слово не заниматься больше столь хлопотливым делом, как учет векселей. Теперь ее брат, помимо пенсии, должен был располагать сорока тысячами франков дохода, г-жа Тюилье становилась обладательницей двенадцати тысяч франков ренты, а сама Бригитта — обладательницей восемнадцати тысяч франков ренты, что вместе составляло семьдесят тысяч франков годового дохода, не считая дома, где они жили, приносившего им еще восемь тысяч франков в год.

— Отныне мы стоим не меньше, чем Минары! — с торжеством заявила Бригитта.

— Еще рано праздновать победу, — заметил на это Теодоз, — льготный срок, во время которого можно повысить цену на дом, истекает лишь через неделю. Я все это время был занят вашими делами, а мои между тем пришли в полный упадок...

— Милый мальчик, у вас есть друзья! — воскликнула Бригитта. — И если вам нужны двадцать пять луидоров, можете получить их у нас в любую минуту!..

При этих словах Теодоз с улыбкой взглянул на Тюилье; тот поспешил увести адвоката в сад и сказал ему:

— Простите мою бедную сестру, она смотрит на мир сквозь кухонное окно... Если вам понадобится двадцать пять тысяч франков, я вам охотно одолжу их... из первых поступлений арендной платы от жильцов нового дома, — прибавил он.

— Тюилье, петля вокруг моей шеи затягивается! — воскликнул Теодоз. — С тех пор, как я стал адвокатом, я должен по векселям... Однако *тише!..* — прибавил Теодоз, испуганный тем, что выдал свою тайну. — Я в руках негодяев... Но я хочу их проучить...

Теодоз неспроста открыл свой секрет Тюилье, тому были две причины: он хотел испытать Тюилье и одновременно предупредить ужасный удар в спину, который могли ему нанести сообщники в мрачной и скрытой борьбе, завязавшейся между ними. Вот несколько слов, объясняющих, в каком тяжелом положении оказался адвокат.

Несколько лет назад Теодоз дошел до последнего предела нищеты, одежда его превратилась в лохмотья, и он лежал в постели, в нетопленной мансарде, где его навещал лишь Серизе. На юноше была последняя рубаха. Три дня подряд он питался одним только черствым хлебом, нарезая его тонкими ломтиками, и с отчаянием спрашивал себя: «Что ж делать дальше?» В это самое время и вышел из тюрьмы его покровитель, получивший помилование. Здесь незачем говорить о планах, которые строили два этих человека при отблесках пламени от горевших в камине дров; у одного из приятелей не было на плечах ничего, кроме одеяла, да и то принадлежало хозяйке, у другого — не было за душой ничего, кроме низменных расчетов. На следующее утро Серизе, успевший повидаться с Дютоком, явился к Теодозу с панталонами, жилетом, сюртуком, шляпой и сапогами, купленными в Тампле, и повез молодого человека обедать. Провансалец, очутившись в ресторане Пенсон, на улице Ансьен-Комеди, в мгновение ока проглотил пол-обеда, стоившего сорок семь франков. За десертом, между двумя бокалами вина, Серизе сказал своему приятелю:

— Если ты подпишешь векселя на пятьдесят тысяч франков, я сделаю тебя адвокатом.

— Тебе потребуется на это не больше пяти тысяч франков, — возразил Теодоз.

— Ну, это уж тебя не касается, ты заплатишь пятьдесят тысяч — таков размер вознаграждения, которое господин, угощающий тебя сегодня царским обедом, и я хотим получить за то, чтобы устроить тебе выгодное дельце: ничем не рискуя, ты станешь адвокатом, приобретешь прекрасную клиентуру и получишь руку юной девицы с годовым доходом в двадцать, а то и в тридцать тысяч франков. Ни Дюток, ни я не можем на ней жениться, поэтому мы и решили одеть тебя, кормить, платить за твое жилье, обставить кабинет — словом, придать тебе вид порядочного человека... Но мы хотим иметь надежные гарантии. Дело, конечно, не во мне, я-то тебя хорошо знаю, но человек, по моей просьбе принявший в тебе участие... Мы снаряжаем тебя в поход, и потому тебе придется подписать векселя, причем на предъявителя. Если это приданое от нас ускользнет, придумаем что-нибудь еще... В конце концов, над нами не каплет... Мы дадим тебе подробные указания, в таком деле торопиться не следует, как говорят: тише едешь — дальше будешь!.. Вот тебе гербовая бумага...

— Человек, перо и чернила! — крикнул Теодоз.

— Люблю таких молодцов! — вырвалось у Дютока.

— Подписывай: «Теодоз де ла Перад» — и укажи: «Адвокат, улица Сен-Доминик-д'Анфер» — вот тут, возле слов: *«Принимается к оплате в размере десяти тысяч»*. Мы сами проставим дату и предъявим иск, разумеется, без огласки, чтобы получить приказ о твоем задержании. Судовладельцы должны надежно обеспечить свои интересы, коль скоро бриг и его капитан находятся в море.

На следующий день после принятия Теодоза в корпорацию адвокатов пристав мирового суда по просьбе Серизе предъявил иск Теодозу, сделав это без огласки; он явился к адвокату поздно вечером, так что его никто не видел, и все было сделано по форме. Коммерческий суд выносит сотни подобных определений. Дело в том, что устав корпорации парижских адвокатов отличается необыкновенной суровостью. Корпорация адвокатов, как и корпорация поверенных, требует строгой дисциплины от своих членов. Достаточно какому-нибудь адвокату влезть в долги, угрожающие ему тюрьмой Клиши, и он будет немедленно исключен из списков адвокатуры. Поэтому Серизе по совету Дютока и принял против их подставного лица эти меры, которые надежно обеспечивали обоим сообщникам по двадцать пять тысяч франков из приданого Селесты. Подписывая векселя, Теодоз думал только о том, что отныне его существование будет обеспечено и он получит доступ к деятельности адвоката, но по мере того, как горизонт перед ним прояснялся, по мере того, как, успешно справляясь со своей ролью, он поднимался вверх по ступенькам социальной лестницы, молодой человек мечтал как можно скорее освободиться от своих компаньонов. И теперь, попросив у Тюилье двадцать пять тысяч франков, он надеялся сговориться с Серизе и выкупить за полцены свои векселя.

К величайшему сожалению, такого рода низменные сделки вовсе не редкость. Они сплошь да рядом происходят в Париже, принимая различные формы, и историк, стремящийся нарисовать точную и полную картину общества, не может их обойти. Дюток, закоренелый развратник, все еще должен был двадцать тысяч франков за свою должность и, надеясь на успех задуманного плана, уповал, по его собственному выражению, разделаться с долгами к концу 1840 года. До сих пор ни один из сообщников еще ничем не нарушил соглашения. Каждый сознавал собственную силу и угадывал размеры опасности. Поэтому все трое в равной мере испытывали недоверие друг к другу, шпионили один за другим, старательно подчеркивали доверие, якобы царившее между ними; их настороженность выдавали только мрачные взгляды и угрюмое молчание, возникавшее в те дни, когда взаимное подозрение сквозило в словах и жестах. Но за последние два месяца позиции Теодоза необыкновенно усилились и напоминали теперь укрепленный форт. Дюток и Серизе, однако, продолжали занимать подземный ход, который вел к этой крепости; они держали там бочки с порохом и постоянно горящий фитиль; достаточно было дуновения ветра, и пороховой погреб, а вместе с ним и форт взлетели бы на воздух.

Как известно, хищные звери настроены особенно свирепо в те минуты, когда они набрасываются на добычу, и такая минута приближалась для трех изголодавшихся тигров. Порою Серизе бросал на Теодоза яростные взгляды, подобные тем, какие дважды на протяжении этого столетия народ бросал на монархов; взгляды эти говорили: «Я сделал тебя королем, а сам пребываю в ничтожестве... Ибо тот, кто не владеет всем, ничем не владеет».

Зависть с неудержимой силой охватила душу Серизе. Дюток целиком находился во власти разбогатевшего экспедитора. Теодоз охотно развел бы костер, чтобы сжечь на нем векселя своих компаньонов, а заодно и их самих. Все трое так старательно скрывали свои мысли, что в конечном счете они именно поэтому становились явными. Теодоз испытывал все муки ада, думая о козырях противников, о возможном исходе игры и о своем будущем! Признание, которое он сделал Тюилье, было исторгнуто отчаянием; он измерил лотом глубину души этого буржуа и не нашел там ничего, кроме двадцати пяти тысяч франков.

«Надо продержаться еще месяц, — сказал он себе, возвратившись домой, — а потом видно будет!»

Он ощутил, как в нем поднимается ненависть к семейству Тюилье. Теодоз теперь безраздельно властвовал над красавцем времен Империи: роль гарпуна, вонзившегося в этого кита мелкой буржуазии, сыграл труд, озаглавленный *«О налогах и погашении долгов»*, над которым совместно работали ла Перад и Тюилье; труд этот необыкновенно льстил самолюбию Жерома. Теодоз излагал в нем идеи, почерпнутые им в органе последователей Сен-Симона «Глоб»; он привел их в систему и расцветил своим красочным и выразительным стилем южанина. Практический опыт Тюилье немало помог адвокату. Играя на тщеславии глупца, этой необыкновенной чувствительной струне, он решил, пользуясь сим более чем скромным оружием, окончательно покорить своего покровителя. Как известно, характеры у людей разные: одних можно уподобить граниту, других — глине...

Поразмыслив, Теодоз пришел к заключению, что его признание — правильный шаг.

«Увидя, что я забочусь о его состоянии и возвращаю ему пятнадцать тысяч франков, хотя сам жестоко нуждаюсь в деньгах, — решил адвокат, — Тюилье будет смотреть на меня, как на воплощение честности».

Вот каким образом Клапарон и Серизе одурачили нотариуса в канун того дня, когда истекал срок, в течение которого можно было набавить цену на дом. Клапарон показал Серизе убежище нотариуса и сообщил ему пароль. Явившись туда, Серизе сказал:

— Один из моих друзей, Клапарон, которого вы хорошо знаете, попросил меня посетить вас. Послезавтра он ждет вас вечером в условленном месте с десятью тысячами франков. Бумага, нужная вам, уже готова, но я хочу присутствовать при том, как вы вручите ему деньги, ибо он мне должен пять тысяч франков... Предупреждаю вас, милостивый государь, что имя в дарственной еще не проставлено.

— Я буду вовремя, — пообещал бывший нотариус.

Незадачливый плут ждал до восхода солнца, и один из кредиторов, которому Серизе открыл его убежище с условием, что тот отдаст ему половину полученного долга, задержал нотариуса и взыскал с него шесть тысяч франков.

— Вот и тысяча экю, — пробормотал Серизе, — на них-то мы снарядим в путь Клапарона.

После этого Серизе снова направился к нотариусу и сказал ему:

— Сударь, Клапарон оказался негодяем! Он получил пятнадцать тысяч франков от человека, который купил дом и собирается оставить его за собой. Пригрозите, что вы откроете кредиторам место, где он скрывается, и обвините его в злостном банкротстве, тогда Клапарон отдаст вам половину.

Пришедший в ярость нотариус написал грозное письмо Клапарону. Тот смертельно перепугался ареста и пришел в полное смятение. Серизе взялся достать ему заграничный паспорт.

— Ты меня немало дурачил, Клапарон, — сказал ему Серизе, — но я лучше тебя. Слушай же: у меня есть всего-навсего тысяча экю... И я их дам тебе! Уезжай в Америку, попробуй там сколотить себе состояние, подобно тому, как я пытаюсь сделать это тут...

В тот же вечер Клапарон с помощью Серизе нарядился старухой и уехал дилижансом в Гавр. Серизе уже видел себя хозяином пятнадцати тысяч франков, которые Теодоз должен был уплатить Клапарону, и спокойно, не торопясь, поджидал адвоката. Экспедитор, человек поистине редкого ума, договорился по совету Дютока с одним из заимодавцев, обладателем векселей всего лишь на сумму в две тысячи франков, что тот в нужную минуту выступит с требованием повысить цену на проданный дом. Серизе рассчитывал получить дополнительно еще семь тысяч франков; они были нужны ему, чтобы осуществить точно такую же деловую операцию, какую осуществил Тюилье; мысль о ней подал совершенно растерявшийся от неожиданной беды Клапарон. Речь шла о доме на улице Жофруа-Мари, который продавался за шестьдесят тысяч франков. Вдова Пуаре давала Серизе десять тысяч франков, столько же предлагал ему торговец вином, не считая векселей на такую же сумму. Эти тридцать тысяч франков вместе с шестью тысячами франков, которыми располагал Серизе, и с теми деньгами, которые он рассчитывал получить, позволяли ему попытать счастье, тем более, что он надеялся в скором времени получить от Теодоза двадцать пять тысяч франков по векселям.

«Срок, во время которого можно было добиваться надбавки на продажную цену дома, прошел, — думал Теодоз, направляясь к Дютоку, чтобы попросить того вызвать Серизе. — Не попробовать ли мне освободиться от моей пиявки?»

— Вам придется потолковать об этом деле на дому у Серизе; ведь Клапарон скрывается у него, — ответил Дюток.

Вот почему Теодоз отправился между семью и восемью часами в логово банкира бедняков; письмоводитель еще утром предупредил того о предстоящем визите человека, на которого оба они сделали ставку.

Серизе принял ла Перада в отвратительной кухне, где приготовлялось дьявольское варево из человеческих невзгод и страданий; расхаживая по комнате, как два хищника в клетке, приятели вели такую беседу:

— Ты принес пятнадцать тысяч франков?

— Нет, но они уже у меня дома.

— А почему не в кармане? — язвительно спросил Серизе.

— Сейчас узнаешь, — ответил адвокат, успевший по пути с улицы Сен-Доминик на улицу Эстрапад принять решение.

Провансальца, которого компаньоны поджаривали на медленном огне, осенила спасительная мысль; она словно возникла в отблесках пламени. Опасность порою рождает озарения. Адвокат верил в силу откровенности, зная, что она не оставляет равнодушным никого, даже плута. Человек почти всегда проникается уважением к своему противнику, если тот, участвуя в дуэли, обнажает себя до пояса.

— Отлично! — сказал Серизе. — Начинаются обычные фокусы...

Он пробормотал эту фразу себе под нос, отчего она прозвучала еще более грозно.

— Ты создал мне великолепное положение, и я этого никогда не забуду, друг мой, — продолжал Теодоз прочувствованным голосом.

— Что-то ты сегодня больно учтив! — проворчал Серизе.

— Послушай, надеюсь, ты не сомневаешься в искренности моих намерений?

— Напротив, весьма сомневаюсь! — ответил ростовщик.

— Быть того не может.

— Я вижу, ты не хочешь выпустить из рук пятнадцать тысяч...

Теодоз пожал плечами и пристально посмотрел на Серизе, который, дивясь поведению своего подопечного, хранил молчание.

— Если бы ты был в моей шкуре и постоянно жил под наведенным на тебя дулом ружья, разве тебе не хотелось бы покончить с таким положением?.. Слушай внимательно. Ты занимаешься рискованным промыслом, и тебе небесполезно заручиться надежной поддержкой в судебном мире Парижа... Шествуя по своей стезе, я рассчитываю года через три стать помощником королевского прокурора или адвокатом королевского суда... Сегодня я предлагаю самую преданную дружбу, она тебе безусловно пригодится, а позднее я обещаю добиться для тебя выгодной должности. Вот мои условия...

— Ты еще ставишь условия! — крикнул Серизе.

— Через десять минут я принесу тебе двадцать пять тысяч франков, а ты возвратишь мне векселя...

— А Дюток? А Клапарон? — вырвалось у Серизе.

— Что тебе до них?.. — шепнул Теодоз на ухо своему дружку.

— Мило! — протянул Серизе. — И ты предлагаешь мне этот жульнический трюк, чтобы заодно прикарманить пятнадцать тысяч франков, которые тебе не принадлежат!..

— Ведь я прибавляю к ним еще десять тысяч... К тому же мы отлично знаем друг друга...

— Если ты смог вытянуть десять тысяч франков у своих буржуа, — быстро сказал Серизе, — тебе никто не мешает потребовать у них двадцать... За тридцать тысяч я согласен вступить с тобою в сговор... Откровенность за откровенность.

— Ты требуешь невозможного! — воскликнул Теодоз. — Кстати, если бы ты имел дело не со мной, а, скажем, с Клапароном, то твои пятнадцать тысяч франков приказали бы долго жить; ведь дом-то уже принадлежит Тюилье...

— Пойду скажу ему об этом, — ответил Серизе, направляясь в комнату, которую Клапарон покинул за десять минут до прихода Теодоза, нарядившись в женское платье.

Противники, как понимает читатель, говорили вполголоса, и если у Теодоза порою вырывалось громкое восклицание, Серизе жестом давал понять адвокату, что Клапарон может их услышать. Минут пять Теодоз напряженно прислушивался к бормотанию двух мужских голосов, испытывая жестокую тревогу: ведь ставкой в игре была его жизнь. Наконец Серизе спустился и подошел к своему компаньону; на устах его играла улыбка, глаза светились адским коварством, на лице была написана радость, которая могла испугать самого Люцифера.

— Не понимаю, что произошло! — проговорил он, пожимая плечами. — Но, оказывается, Клапарон — стреляный воробей, недаром он имел дело с крупными банкирами. Не успел я передать ему твои слова, как он расхохотался и сказал: «Я этого ожидал!..» И тебе придется завтра принести мне двадцать пять тысяч франков, о которых ты говорил, дружок, причем векселя останутся у меня.

— Это еще почему?.. — пробормотал Теодоз, испытывая непередаваемое ощущение в спине, словно сквозь его позвоночник пропустили электрический ток.

— Дом принадлежит нам! — выпалил Серизе.

— Каким образом?

— Клапарон потребовал повышения продажной цены от имени некоего десятника, одного из заимодавцев: этого малого зовут Совенью. По его поручению поверенный Дерош вчинил иск, и завтра утром вы получите уведомление... Это дело стоящее; Клапарон, Дюток и я, пожалуй, сложимся и сами купим дом... Что бы я делал без Клапарона? Мне пришлось забыть старые обиды... Да, да, я все простил ему, ты даже не поверишь, дружище, я обнял его! Так что тебе придется изменить свои условия...

Последняя фраза прозвучала особенно страшно, потому что Серизе сопроводил ее ужасной гримасой; он не отказал себе в удовольствии разыграть сцену из «Единственного наследника»[[73]](#footnote-73), не переставая наблюдать за поведением провансальца.

— О Серизе! — воскликнул Теодоз. — А я-то желал тебе добра!

— Говоря между нами, мой милый, ты этого заслужил!..

И Серизе ударил себя в грудь:

— У тебя нет сердца! С тех пор, как ты решил, что взял над нами верх, ты пытаешься нас раздавить... Я тебя вытащил из грязи, спас от голода! Ты подыхал, как последний болван... Мы проложили тебе путь к богатству, создали тебе прекрасное положение в обществе, ввели в дом, где есть богатая невеста... А как ты нам отплатил? Отныне я тебя знаю, и мы всегда будем начеку.

— Значит, война? — спросил Теодоз.

— Ты первый открыл стрельбу, — ответил Серизе.

— Но если вы меня уничтожите, плакали ваши денежки! А если вам это не удастся, вы приобретете в моем лице врага!..

— Ты повторяешь слова, которые я говорил вчера Дютоку, — холодно сказал Серизе. — Но ничего не поделаешь, у нас нет иного выбора... Приходится действовать сообразно обстоятельствам... Однако я добрый малый, — продолжал он после паузы, — принеси мне завтра в девять утра двадцать пять тысяч франков, и Тюилье сохранит дом... Мы будем по-прежнему служить тебе верой и правдой, а ты в свое время с нами расплатишься... Ну, разве это не благородно, мой милый, после всего, что сейчас произошло?..

И Серизе похлопал Теодоза по плечу с циничным добродушием, куда более унизительным, чем клеймо палача.

— Хорошо, но дай мне срок до полудня, — ответил провансалец, — ибо, как ты любишь говорить, дело требует времени!

— Попробую уговорить Клапарона. Этот человек ужасно нетерпелив!

— Итак, до завтра! — проговорил Теодоз с видом человека, принявшего решение.

— До свиданья, дружище, — протянул Серизе, гнусавя так, что прекрасное слово «до свиданья» прозвучало, в его устах, как брань.

«Ну, он, кажется, готов, эк его качает!» — подумал Серизе, следя из окна за Теодозом, который шел по улице как потерянный.



Свернув на улицу Пост, адвокат быстрым шагом направился к дому г-жи Кольвиль; он был чрезвычайно возбужден и время от времени разговаривал сам с собой. Сильное волнение и пожиравшая его, как огонь, тревога, знакомая многим парижанам, ибо положение, в котором оказался Теодоз, — отнюдь не редкость в Париже, привели молодого человека в состояние одержимости; он испытывал непреодолимую потребность выражать свои чувства вслух. Небольшая подробность наглядно объясняет такого рода состояние. Достигнув места, где скрещиваются улица Сен-Жак дю О-Па и маленькая улочка Дез-Эглиз, ла Перад воскликнул:

— Я убью его!..

— Малый, видать, чем-то недоволен! — заметил проходивший мимо рабочий.

И эта шутка, словно чудом, погасила адское пламя, терзавшее душу Теодоза.

Выйдя от Серизе, он решил во всем признаться Флавии и довериться ей. Многие южане таковы: они сохраняют присутствие духа до определенного мгновения, а потом разом приходят в уныние. Он вошел в дом Кольвиля. Флавия была одна в комнате. Взглянув на Теодоза, она испугалась, решив, что он сейчас либо силой овладеет ею, либо убьет.

— Что с вами? — вскричала она.

— Я... — пробормотал он. — Любите ли вы меня, Флавия?

— Как вы можете в этом сомневаться?

— Любите ли вы меня беззаветно? Не перестанете ли вы любить меня, даже если я окажусь преступником?

«Неужели он кого-нибудь убил?» — подумала Флавия.

Она ничего не ответила Теодозу и лишь утвердительно кивнула головой.

Молодой адвокат почувствовал острую радость, какую чувствует утопающий, ухватившийся в последнюю минуту за ветвь плакучей ивы; вскочив со стула, он бросился к дивану, на котором сидела Флавия, и, содрогаясь от рыданий, способных тронуть сердце старого судьи, оросил слезами руки Флавии.

— Меня ни для кого нет дома! — сказала г-жа Кольвиль горничной.

Закрыв дверь, она возвратилась к Теодозу, испытывая прилив материнской нежности. Сын Прованса лежал, растянувшись на диване, и плакал, зарывшись головой в подушку. В руках у него был платок; когда Флавия взяла этот платок в руки, он был мокрым от слез.

— Что случилось? Что с вами? — спросила она.

Натура — величайший из актеров — сослужила отличную службу Теодозу. Он больше не играл роль, он был теперь самим собой, и его слезы, нервический припадок, как нельзя лучше увенчали комедию, которую он дотоле разыгрывал.

— Вы просто дитя! — проговорила Флавия нежным голосом, перебирая волосы Теодоза и с радостью замечая, как высыхают его глаза.

— Только вы одна существуете для меня в целом свете! — воскликнул он, покрывая страстными поцелуями руки Флавии. — И если вы останетесь со мной, если вы будете для меня тем, чем служит душа для тела и тело для души, — прибавил он, постепенно приходя в себя и с нежностью глядя на нее, — в таком случае я опять обрету утраченное мужество.

Он встал и прошелся по комнате.

— О да, я снова ринусь в бой, я, как Антей, вновь почерпну силы, прильнув к своей матери, я задушу собственными руками гадюк, что обвились вокруг меня! Они дарят меня змеиными поцелуями, они увлажняют мои щеки ядовитой слюной, они жаждут моей крови, моей чести! О горькая нищета!.. Сколь велик тот, кто встречает ее, не сгибаясь, высоко подняв голову!.. Лучше бы я умер от голода на своем жалком ложе три года назад!.. Гроб кажется мне пуховой периной в сравнении с той жизнью, какую я сейчас веду!.. Вот уже полтора года, как я *вкусил от жизни буржуа!..* И в ту самую минуту, когда я стою на пороге почетного и счастливого существования, на пороге блестящего будущего, когда я уже усаживаюсь за пиршественный стол, палач ударяет меня по плечу... Да, этот изверг ударил меня по плечу и прохрипел мне на ухо: «Уплати десятину дьяволу или погибни!..» И он думает, что я не сокрушу его... Что я не раздеру ему пасть, не выпущу из него кишки! Да, именно так я и поступлю! Взгляните, Флавия, высохли у меня глаза? Отлично, теперь я вновь смеюсь, я чувствую свою силу, я опять обретаю прежнюю мощь... О, скажите, что вы меня любите... Повторите еще раз! Эти слова прозвучат для меня как весть о помиловании для приговоренного к смерти.

— Вы просто ужасны, друг мой!.. — прошептала Флавия. — Вы довели меня до изнеможения.

Несчастная женщина ничего не понимала, в полуобморочном состоянии она без сил опустилась на диван, потрясенная видом и речами Теодоза.



Молодой человек упал на колени.

— О, простите... простите! — проговорил он.

— Но что все-таки с вами произошло? — спросила Флавия.

— Меня хотят погубить. Подтвердите же свое обещание отдать за меня Селесту, и вы увидите, какую великолепную жизнь я создам для нее и для вас!.. А если вы колеблетесь, ну что ж, тогда вы станете моей, и немедля!..

Весь его вид говорил о такой отчаянной решимости, что Флавия в испуге вскочила с дивана и принялась ходить по комнате...

— О мой ангел-хранитель! Коленопреклоненный, я обращаюсь к тебе... Какое чудо! Теперь я вижу, что господь за меня! На меня снизошло озарение. Меня осенила великая мысль!.. О, благодарю тебя, мой добрый ангел-хранитель, великий Теодоз! Ты спас меня!

Флавия с восхищением смотрела на этого хамелеона: опустившись на одно колено, скрестив руки на груди, воздев очи горе, охваченный религиозным экстазом, он читал молитву, он был в ту минуту самым ревностным католиком и с благоговением осенял себя крестом. Зрелище было не менее величественное, чем картина, изображающая причастие святого Иеронима.

— Прощайте! — сказал он ей голосом, в котором прозвучала чарующая меланхолия.

— О, прошу вас, оставьте мне этот платок! — воскликнула Флавия.

Теодоз, как безумный, сбежал по лестнице, выскочил на улицу и быстрым шагом направился к Тюилье; внезапно он обернулся, увидел Флавию в окне и с победным видом помахал ей рукой.

— Какой человек! — прошептала она...

— Добрый друг, — сказал Теодоз спокойным, мягким, чуть вкрадчивым голосом, глядя в глаза Тюилье, — мы в руках ужасных мошенников. Но я преподам им небольшой урок.

— Что произошло? — всполошилась Бригитта.

— Дело в том, что они требуют двадцать пять тысяч франков в уплату за то, чтобы вас признали законными владельцами дома. Оказывается, нотариус и его сообщники сделали заявление о повышении цены. Тюилье, захватите с собою пять тысяч франков и поедем со мной, я добьюсь того, что дом будет вашим... Я наживу себе беспощадных врагов! — воскликнул адвокат. — Они попытаются погубить меня в глазах общества. Я прошу лишь об одном: будьте глухи к их низкой клевете, не меняйте отношения ко мне. В конце концов какое мне дело до их нападок! Если мне удастся осуществить свой план, дом обойдется вам в сто двадцать пять тысяч франков вместо ста двадцати тысяч, вот и все.

— А это не может повториться? — с тревогой спросила Бригитта, у которой от страха округлились глаза.

— Надбавку могут предложить только должным образом зарегистрированные заимодавцы, своим правом воспользовался лишь один из них, так что мы можем быть спокойны. У этого человека вексель всего на две тысячи франков, но придется щедро заплатить поверенным и дать заимодавцу тысячу франков отступного.

— Ступай, Тюилье, — сказала Бригитта, — надень шляпу, перчатки, а деньги возьми в известном тебе месте...

— Так как меня постигла неудача с пятнадцатью тысячами франков, то я не хочу прикасаться к этим деньгам... Пусть Тюилье сам заплатит, — сказал Теодоз, оставшись вдвоем с Бригиттой. — Вы заработали двадцать тысяч франков на сделке с Грендо, он думал, что работает на нотариуса. Отныне вы владельцы дома, который через пять лет будет стоить миллион. Ведь он расположен в конце бульвара!

Бригитта настороженно слушала, напоминая кошку, почуявшую мышей под полом. Она глядела в глаза Теодозу и, несмотря на справедливость его слов, испытывала недоверие.

— Что с вами, милая тетушка?

— О, я буду смертельно тревожиться, пока мы наконец не станем владельцами этого дома...

— Ведь вы охотно уплатили бы двадцать тысяч франков, чтобы Тюилье сделался, как выражаемся мы, юристы, бесспорным его владельцем? Не правда ли? — спросил Теодоз. — Так вот, не забывайте, что я уже второй раз добываю для вас это богатство...

— Куда мы направляемся? — спросил Тюилье.

— К господину Годешалю! Он будет нашим поверенным...

— Но ведь мы отказали ему в руке Селесты! — вскричала старая дева.

— Именно по этой причине мы и направляемся к нему, — отвечал Теодоз. — Я хорошо изучил его. Это человек чести, и он сочтет себя обязанным оказать вам услугу.

Годешаль, преемник Дервиля, был на протяжении десяти лет старшим письмоводителем у Дероша. Ла Пераду было известно это обстоятельство; имя Годешаля ему подсказал какой-то внутренний голос в минуту, когда он предавался отчаянию, и молодой человек увидел возможность выбить из рук Клапарона оружие, которым ему, Теодозу, угрожал Серизе. Раньше всего адвокату требовалось для этого проникнуть в кабинет Дероша, чтобы с его помощью разобраться в положении своих противников. И один только Годешаль, в силу близости, существующей между письмоводителем и его патроном, мог послужить проводником ла Пераду.

В Париже поверенные, если их связывают такие тесные узы, какие связывали Годешаля и Дероша, живут в полном согласии, и это позволяет им с необыкновенной легкостью полюбовно улаживать те дела, которые можно таким путем уладить. Они добиваются друг от друга взаимных уступок, руководствуясь поговоркой: *«Уступи мне, и я тебе уступлю»*, или *«Долг платежом красен»*. Как известно, этим же принципом руководствуются люди различных профессий, начиная с министров и генералов и кончая судьями и коммерсантами, так поступают всюду, где вражда не воздвигает непреодолимых барьеров между различными партиями.

«Соглашаясь на эту сделку, я получаю солидный гонорар» — вот мысль, которую даже не надо выражать словами, она становится понятной благодаря жесту, интонации, взгляду. А так как поверенные постоянно оказываются в сходных обстоятельствах, они с полуслова понимают друг друга и быстро приходят к соглашению. Противовесом этим взаимным дружеским услугам служит то, что можно было бы назвать *«профессиональной честностью»*. Общество не подвергает сомнению слова поверенного, подобно тому как оно не подвергает сомнению слова практикующего врача, когда тот говорит: «В этом лекарстве содержится мышьяк». Никакие соображения не могут одержать верх над самолюбием актера, над честностью законоведа, над независимостью общественного деятеля. Вот почему поверенный в Париже с одинаковым добродушием заявляет: «Нет, тут ничего не поделаешь, мой клиент вне себя от ярости» — или: «Ну что ж, поживем — увидим...»

Ла Перад, человек проницательный, недаром провел столько времени во Дворце Правосудия: он отлично изучил нравы жрецов судопроизводства и понимал, что они помогут ему в осуществлении его планов.

— Оставайтесь в экипаже, — сказал он Тюилье, когда они въехали на улицу Вивьен, где помещалась контора Годешаля, в которой поверенный в свое время начинал карьеру как письмоводитель, — вы пойдете к нему лишь в том случае, если он возьмется за наше дело.

Было одиннадцать часов вечера, и ла Перад, надеявшийся, что новоиспеченный поверенный все еще работает в столь поздний час у себя в конторе, не обманулся в своих расчетах.

— Чему я обязан визитом адвоката? — спросил Годешаль, идя навстречу ла Пераду.

Иностранцы, провинциалы, светские люди, быть может, не знают, что отношения адвокатов и поверенных во многом напоминают отношения генералов и старших офицеров; существует четкая линия водораздела между корпорацией адвокатов и корпорацией поверенных города Парижа, и она строго соблюдается. Каким бы уважением ни пользовался поверенный, как бы талантлив он ни был, полагается, чтобы он посещал адвоката. Поверенный — это штабной офицер, он намечает план кампании, обеспечивает армию боевыми припасами, подготавливает наступление, адвокат же ведет битву. Тот, кто объяснит, почему в силу закона клиент должен иметь дело с двумя юридическими лицами вместо одного, объяснит, вероятно, и то, почему автору приходится иметь дело и с книгоиздателем и с книгопродавцем. Устав корпорации адвокатов запрещает своим членам составлять какие бы то ни было бумаги, относящиеся к компетенции поверенных. Очень редко наблюдается, что крупный адвокат посещает контору поверенного, обычно он видится с ним во Дворце Правосудия; однако в мире нет правил без исключений, и некоторые адвокаты, особенно люди типа ла Перада, отступают от традиций и сами иногда являются к поверенным. Но даже такие случаи происходят не часто и объясняются обычно тем, что вопрос не терпит отлагательства.

— Не скрою, речь идет о серьезном деле, и к тому же весьма щепетильном, нам лучше всего решить его вдвоем, — сказал ла Перад. — Внизу, у ваших дверей, в экипаже сидит Тюилье, и я прихожу к вам не в качестве адвоката, а в качестве его друга. Один только вы в силах оказать ему огромную услугу, и я заверил его, что вы, как человек благородной души, ибо недаром же вы стали преемником великого Дервиля, охотно предоставите в его распоряжение все свои способности. Вот в чем суть дела.

Изложив в выгодном свете все, что произошло, рассказав о происках Серизе, на которые следовало ответить ловким ударом, адвокат постарался расположить к себе поверенного правдивостью, ибо, как известно, большинство клиентов говорит неправду, и наметил собственный план кампании.

— Мой дорогой мэтр, хорошо бы вам еще сегодня вечером повидаться с Дерошем, уведомить его обо всех этих кознях и попросить, чтобы он пригласил к себе завтра утром своего клиента, этого Совенью. Мы втроем исповедуем пройдоху, и если он согласится получить, помимо уплаты долга, еще и тысячу франков в придачу, мы ее дадим, не считая пятисот франков гонорара для вас и такой же суммы для Дероша. Эти деньги Тюилье уплатит, если Совенью завтра в десять утра согласится взять иск обратно... Чего хочет Совенью? Вернуть свои деньги? Ну что ж, ни один десятник не устоит перед соблазном прикарманить тысячу франков, даже если он служит орудием каких-либо алчных дельцов. Пусть он потом объясняется с сообщниками как знает, нас это мало касается... Прошу вас, помогите семейству Тюилье...

— Я тотчас же направлюсь к Дерошу, — сказал Годешаль.

— Нет, пусть сначала Тюилье подпишет доверенность на ваше имя и внесет пять тысяч франков. В таких случаях деньги, как говорится, кладут на бочку...

После короткой беседы, во время которой Тюилье долго мялся, ла Перад усадил Годешаля в экипаж и отвез его на улицу Бетизи к Дерошу, убедив поверенного, что это им по пути, так как они едут на улицу Сен-Доминик; попрощавшись с Годешалем у дома Дероша, адвокат условился с ним о встрече в семь часов утра на следующий день.

Будущее и богатство де ла Перада зависели теперь от успеха переговоров между двумя поверенными и клиентом. Вот почему не следует удивляться, что молодой человек, нарушив устав корпорации адвокатов, решил явиться в контору Дероша, чтобы встретиться там с Совенью и принять участие в битве; его даже не испугала опасность, какой он подвергал себя, представая перед глазами самого грозного поверенного во всем Париже.

Войдя в контору, он поздоровался со всеми и внимательно оглядел Совенью. То был, как Теодоз уже догадался по его имени, марселец, десятник, занимавший промежуточное положение между рабочими и подрядчиком строительных работ. Его роль состояла в том, чтобы наблюдать за ходом этих работ. Доход подрядчика складывается из разницы между суммой, которую он получает от заказчика, и суммой, которую он уплачивает десятнику за строительные материалы и рабочую силу.

Когда подрядчик обанкротился, Совенью подал иск в коммерческий суд и был признан одним из кредиторов со внесением в список. Этот иск был одним из последних эпизодов краха дельцов, возводивших дома возле церкви Мадлен.

Совенью, низенький, коренастый человек, одетый в блузу из серого холста, с фуражкой на голове, сидел в кресле. Перед ним на письменном столе Дероша лежали три кредитных билета по тысяче франков каждый: ла Перад сразу понял, что переговоры уже происходили и поверенные потерпели неудачу, Годешаль выразительно посмотрел на адвоката бедняков, а Дерош бросил на него острый взгляд, который можно сравнить разве только с ударом заостренной мотыги, вонзающейся в рыхлую землю. Сознание опасности пришпорило провансальца, он был неподражаем: протянув руку, он сгреб тысячефранковые кредитки и сделал вид, будто хочет опустить их в карман.

— Тюилье отказывается от сделки, — сказал он Дерошу.

— Вот и отлично, это весьма кстати, — ответил грозный поверенный.

— Да, вашему клиенту придется уплатить нам шестьдесят тысяч франков, израсходованные на достройку дома, как это видно из договора, подписанного Тюилье и Грендо. Я не успел сказать вам об этом вчера, — прибавил Теодоз, поворачиваясь к Годешалю.

— Слышите? — обратился Дерош к Совенью. — Это пахнет процессом, который я не стану вести без надежных гарантий...

— Славные господа, — сказал марселец, — я не могу договариваться с вами, не повидав почтенного человека, который вручил мне пятьсот франков в счет долга с условием, что я подпишу нацарапанную на клочке бумаги доверенность.

— Ты из Марселя? — быстро спросил ла Перад у Совенью, обращаясь к нему на южном диалекте.

— Ну, если Совенью ответит на том же диалекте, он пропал! — шепнул Дерош Годешалю.

— Да, сударь, — ответил незадачливый сутяга адвокату.

— Так вот, простофиля, — продолжал Теодоз, — тебя хотят разорить... Знаешь, что тебе надо сделать? Возьми эти три тысячи франков, а когда твой дружок явится к тебе, схвати деревянный метр и отделай его хорошенько, объяснив ему при этом, что он проходимец, что он хотел воспользоваться тобой в своих интересах и что ты берешь доверенность обратно, а деньги возвратишь ему после дождичка в четверг. Затем спрячь получше три с половиной тысячи франков, которые тебе сами плывут в руки, и уезжай в Марсель. А если с тобой приключится какая-нибудь неприятность, приходи сюда, к господину поверенному... Он знает, как меня разыскать, а уж я тебя выручу из беды. Дело в том, дружище, что я не только добрый провансалец, но и один из первых адвокатов Парижа и известный друг бедняков...

Когда десятник обрел в лице земляка человека, подкрепившего уже смутно зародившееся в нем желание предать подрядившего его ростовщика, он капитулировал, но потребовал за это три с половиной тысячи франков.

— Я задам ему выволочку, он ее вполне заслужил, — проворчал Совенью. — За такие проделки впору и в полицию свести...

— Только смотри, бей лишь тогда, когда он начнет тебя ругать, — заметил Перад, — тогда признают, что ты действовал в целях самозащиты...

Когда Дерош подтвердил, что ла Перад и в самом деле член корпорации парижских адвокатов, Совенью подписал заявление об отказе от иска; поверенные составили акт, действуя от имени Тюилье и Совенью: в нем было указано, что заимодавец полностью получил и сумму долга и проценты и что ему возмещены все расходы; таким образом, грозившая возникнуть тяжба была потушена в самом начале.

— Мы оставляем вам полторы тысячи франков, — вполголоса сказал ла Перад Дерошу и Годешалю, — но я прошу вас дать мне акт о его отказе от иска, я отнесу его на подпись Тюилье, который всю ночь не смыкал глаз и ожидает меня у своего нотариуса Кардо...

— Идет! — сказал Дерош. — Вы можете быть довольны, — обратился он к Совенью, подписывавшему бумагу, — вам без хлопот достались полторы тысячи франков.

— А у меня их не отберут... господин писец? — с тревогой спросил марселец.

— О нет, вы получили их вполне законным образом, — успокоил его Дерош. — Вам только придется уведомить своего доверителя, что вы отказались от всех претензий, и пометить это извещение вчерашним числом. Пройдите в канцелярию, там все сделают...

Дерош объяснил старшему письмоводителю, как надлежит составить документ, и попросил его проследить за тем, чтобы рассыльный вручил бумагу Серизе до десяти часов утра.

— Я вам бесконечно признателен, Дерош, — сказал Теодоз, пожимая руку поверенному. — Вы обо всем подумали, я никогда не забуду, какую услугу вы мне оказали...

— Передайте документ Кардо не раньше полудня.

— Эй, земляк! — крикнул адвокат Совенью, переходя на провансальский язык. — Отправляйся со своей подружкой в Бельвиль на весь день, да смотри не возвращайся домой раньше полуночи...

— Понимаю, — откликнулся Совенью, — потасовку отложим на завтра!..

— В добрый час, — проговорил ла Перад с непередаваемым провансальским акцентом.

— Тут что-то кроется, — сказал Дерош Годешалю в ту самую минуту, когда адвокат показался в двери, ведущей из канцелярии в кабинет поверенного.

— Тюилье почти даром приобрел великолепный дом, — ответил Годешаль, — вот и все.

— Ла Перад и Серизе напоминают мне двух пловцов, которые душат друг друга под водой, — ответил Дерош. — А что мне сказать Серизе, если он спросит меня, кто затеял всю эту историю? — спросил поверенный у адвоката, подошедшего к столу.

— Вы скажете, что этого потребовал Совенью, — ответил ла Перад.

— И вы ничего не боитесь? — спросил в упор Дерош.

— О, я должен его как следует проучить!

— Завтра мы все узнаем, — сказал Дерош Годешалю. — Никто не бывает более болтлив, чем побежденный!

Ла Перад вышел от поверенного, унося в кармане вожделенный акт. В одиннадцать часов утра он был в присутствии мирового судьи. Когда к спокойному и сдержанному Теодозу подошел бледный от ярости Серизе, со злобно сверкавшим взором, адвокат прошептал ему на ухо:

— Любезный друг, я тоже славный малый! Я все еще держу для тебя двадцать пять тысяч франков новенькими кредитками и готов вручить их в обмен на свои векселя...

Серизе, не находя слов для ответа, молча смотрел на адвоката бедняков. Он позеленел и только судорожно глотал слюну.

— Я неоспоримый владелец дома! — воскликнул Тюилье, возвратившись от Жакино, зятя и преемника Кардо. — Никакие силы человеческие не могут лишить меня моего достояния. Меня в этом заверили.

Буржуа больше верят тому, что говорят нотариусы, нежели тому, что говорят поверенные. Нотариус им ближе, чем любое другое официальное лицо. Парижский буржуа со страхом идет к своему поверенному, чья воинственная отвага наполняет его тревогой; в то же время он всякий раз с удовольствием посещает своего нотариуса и восхищается его мудростью и здравым смыслом.

— Кардо подыскивает себе хорошую квартиру и попросил меня оставить за ним помещение на третьем этаже, — продолжал Тюилье. — Он сказал, что если я хочу, то он может познакомить меня в воскресенье с кандидатом в главные квартиронаниматели, который согласен заключить со мной арендный договор сроком на восемнадцать лет, уплатить налоги и ежегодно вносить по сорок тысяч франков... Что ты на это скажешь, Бригитта?

— По-моему, надо выждать, — ответила старая дева. — Ах, наш милый Теодоз заставил меня сильно *струхнуть*.

— Да, дорогая, ты еще не знаешь, что сказал Кардо. Спросив, кто устроил мне столь выгодное дело, он заявил, что я обязан сделать этому человеку подарок по меньшей мере в десять тысяч франков. Говоря по правде, я ему обязан всем!

— Но ведь он почти что член нашей семьи, — ответила Бригитта.

— Бедняга, я воздаю ему должное, ведь он ничего у нас не просит...

— Итак, добрый друг, — сказал ла Перад, возвратившись в три часа от мирового судьи, — вот вы и крупный богач!

— Только благодаря тебе, любезный Теодоз...

— А вы, милая тетушка, возвратились к жизни?.. Должен признаться, я струхнул еще больше, чем вы... Ведь ваши интересы для меня важнее своих. Право, впервые за эти дни я свободно вздохнул лишь в одиннадцать часов утра. Отныне меня будут преследовать по пятам заклятые враги — два человека, которых я обманул ради вас. По дороге сюда я спрашивал себя: каким же влиянием вы должны обладать, если толкнули меня на такое преступление? Сможет ли то счастье, какое я буду испытывать, став членом вашей семьи, сделавшись вашим сыном, стереть когда-нибудь пятно, которым я замарал свою совесть?..

— Пустяки! Ты исповедуешься в этом грехе, — отвечал вольнодумец Тюилье.

— Теперь, — продолжал Теодоз, обращаясь к Бригитте, — вы можете, ничего не страшась, уплатить за дом восемьдесят тысяч франков да тридцать тысяч франков Грендо, это составит вместе с дополнительными расходами сто двадцать тысяч франков. Прибавим к ним и злополучные двадцать тысяч франков, и тогда общая сумма составит сто сорок тысяч. Когда вы будете заключать контракт с главным квартиронанимателем, потребуйте от него внести аванс за последний год аренды. Не забудьте оставить для меня и моей будущей жены весь второй этаж над антресолями. Даже при этом вы без труда найдете человека, который снимет дом на двенадцать лет с уплатой сорока тысяч франков ежегодно. Если вы захотите переехать из этого квартала в квартал, где помещается Палата депутатов, у вас будет достаточно средств, чтобы снять для себя просторную квартиру во втором этаже с каретным сараем, конюшнями и другими службами, необходимыми для людей, живущих на широкую ногу. А теперь, Тюилье, я хочу добиться для тебя креста Почетного легиона!

При этих словах Бригитта воскликнула:

— Право, мой дорогой, вы так превосходно справились со всеми нашими делами, что я хочу просить вас довести до конца дело с домом Тюилье...

— Не слагайте с себя власти, дражайшая тетушка, — отвечал Теодоз, — избави меня бог совершить хотя бы один шаг без вашего совета! Ведь вы добрый гений семьи. Я сейчас думаю только об одном — о том дне, когда Тюилье станет членом Палаты. Не пройдет двух месяцев, и вы получите сорок тысяч франков в уплату за последний год аренды. Кроме того, Тюилье в первый же платежный срок положит в банк десять тысяч франков, которые внесет ему квартиронаниматель.

Столь радужные надежды привели старую деву в восторг. Воспользовавшись этим, Теодоз увлек Тюилье в сад и, не обинуясь, сказал ему:

— Добрый друг, придумай способ получить от своей сестры десять тысяч франков, но только так, чтобы она ни в коем случае не заподозрила, что ты их передашь мне. Скажи ей, что эту сумму надо будет распределить между чиновниками канцелярий, дабы ускорить получение ордена Почетного легиона. Скажи ей также, что ты сам знаешь, кому нужно вручить деньги.

— Хорошо, — ответил Тюилье, — кстати, я верну их ей, как только получу арендную плату.

— Деньги нужны к вечеру, добрый друг. Я уже сегодня хочу отправиться на разведку, и завтра мы будем знать, как себя вести...

— Какой ты необыкновенный человек! — воскликнул Тюилье.

— Министерство первого марта скоро падет, надо успеть получить орден из его рук, — с тонкой улыбкой ответил Теодоз.

Переговорив с Тюилье, адвокат бросился к г-же Кольвиль и уже с порога сказал ей:

— Я победил. Селеста будет владеть домом стоимостью в миллион, Тюилье при составлении брачного контракта передаст ей дом во владение, без права пользования доходами. Но храните это в секрете, не то руки вашей дочери станут добиваться пэры Франции. Впрочем, она получит его лишь в том случае, если выйдет за меня замуж. А теперь одевайтесь, мы едем к графине дю Брюэль, она может выхлопотать крест для Тюилье. Пока вы станете облачаться в боевые доспехи, я хочу пройти к Селесте и немного полюбезничать с нею. В экипаже я вам расскажу, что из этого вышло.

Направляясь к Флавии, ла Перад заметил в гостиной Селесту и Феликса Фельона. Г-жа Кольвиль настолько доверяла дочери, что разрешала ей оставаться наедине с молодым преподавателем. После одержанного утром большого успеха Теодоз решил, что приспела пора перейти к прямой атаке на Селесту. Настало время рассорить влюбленных голубков, и адвокат, не моргнув глазом, приложил ухо к замочной скважине двери, ведущей в гостиную: перед тем, как войти туда, он хотел точно знать, какую именно букву в алфавите любви они уже повторяют. На этот проступок, столь излюбленный слугами, его, можно сказать, подтолкнул шум доносившегося из гостиной спора. По выражению одного из наших поэтов, любовь — это привилегия, которой пользуются два человека, чтобы причинять друг другу огорчения по сущим пустякам.

Приняв в душе решение избрать Феликса спутником жизни, Селеста пожелала не столько изучить его, сколько слиться с ним в едином душевном порыве, который служит источником истинной привязанности; такое стремление заставляет юные сердца против воли необыкновенно придирчиво относиться к своему избраннику. Причиной ссоры, незримым свидетелем которой сделался Теодоз, была глубокая размолвка между математиком и Селестой, случившаяся еще несколько дней назад...

Юная девушка, воспитанная в тот период, когда госпожа Кольвиль пыталась искупить свои грехи, была необыкновенно благочестива; она принадлежала к пастве истинно верующих; ортодоксальный католицизм, слегка смягченный мистическим характером ее веры, столь любезным сердцу юных особ, был для Селесты своего рода поэзией, сокровенной жизнью духа. Становясь взрослыми, экзальтированные девицы такого рода делаются либо святыми, либо женщинами необыкновенно легкомысленными. Но в пору юношеского цветения они отличаются деспотической непримиримостью; их образ мыслей донельзя возвышен, по их мнению, все вокруг должно быть совершенным, небесным, ангельским, божественным. Для таких девушек ничто не существует вне их идеала, все, что не отвечает их требованиям, представляется им мерзким и низменным. Вот почему эти строгие девицы презрительно отбрасывают великолепные бриллианты, если на них имеется хотя бы крохотное пятнышко, а становясь женщинами, восторженно любуются поддельными драгоценностями.

Итак, Селеста обнаружила в Феликсе не то чтобы неверие, но безразличное отношение к вопросам веры. Подобно большинству геометров, химиков, математиков и выдающихся естествоиспытателей, он подчинял веру разуму: он считал проблему существования бога столь же неразрешимой, как квадратура круга. В душе он был деистом, исповедовал веру, какую исповедуют почти все французы, но придавал ей не больше значения, чем новому закону, принятому в Июле. По его мнению, бог на небесах был столь же необходим, как бюст короля в здании мэрии. Достойный сын своего отца, Феликс Фельон не скрывал убеждений: с простодушием и рассеянностью человека, занятого разрешением научных проблем, он позволял Селесте читать в его сердце. Молодая девушка смешивала вопросы религии с вопросами гражданского состояния, она испытывала священный ужас перед атеизмом, а исповедник объяснил ей, что деист — двоюродный брат атеиста.

— Исполнили ли вы свое обещание, Феликс? — спросила Селеста, как только г-жа Кольвиль оставила ее наедине с молодым ученым.

— Нет, дорогая Селеста, — отвечал Феликс.

— О, не выполнить обещания!.. — воскликнула с укоризной девушка.

— Но ведь сдержать его было бы кощунственно, — сказал математик. — Я вас безумно люблю, и это чувство не позволяет мне противиться вашим желаниям, вот почему я и дал вам обещание, с которым совесть моя не может примириться. А ведь совесть, милая Селеста, — это наше сокровище, наша сила, наша опора. Как можете вы желать, чтобы я отправился в церковь и опустился на колени перед священником, коль скоро я вижу в нем лишь человека?.. Да вы первая стали бы меня презирать, если бы я вас послушался.

— Значит, дорогой Феликс, вы не хотите идти в церковь? — спросила Селеста, бросая на человека, которого она любила, затуманенный слезами взгляд. — Значит, будь я вашей женой, вы отпускали бы меня туда одну?.. Нет, вы не любите меня так, как я люблю вас!.. Ведь в моем сердце живет к вам, к безбожнику, чувство, противное тому, какого требует от меня господь!

— К безбожнику! — воскликнул Феликс Фельон. — О нет, выслушайте меня, Селеста... Бог, конечно, существует, я в это верю, но у меня более возвышенное представление о нем, нежели у ваших священников, я не низвожу его до себя, а стараюсь подняться до него... Я прислушиваюсь к голосу, звучащему во мне по его воле, к голосу, именуемому всеми порядочными людьми голосом совести, и я изо всех сил стремлюсь не угасить божественного огня, который горит во мне. Вот почему я никогда в жизни никому не причиню вреда, никогда не преступлю законов общечеловеческой морали, морали Конфуция, Моисея, Пифагора, Сократа, как и Иисуса Христа... Я чист перед богом, мои деяния служат мне молитвами, я никогда не стану лгать, слово мое свято, я никогда не совершу низменного или подлого поступка... Вот наставления, усвоенные мною от добродетельного отца, и я хочу завещать их своим детям. Я всегда буду творить столько добра, сколько будет в моих силах, даже если это заставит меня страдать. Можно ли требовать чего-либо большего от человека?..

Символ веры Феликса Фельона заставил Селесту только горестно покачать головой.

— Прочтите внимательно «Подражание Христу»[[74]](#footnote-74)! — сказала она. — Попытайтесь возвратиться в лоно святой католической церкви, апостолической и римской, и вы поймете, до какой степени нелепы ваши речи... Послушайте, Феликс, брак в глазах церкви не преходящий акт, призванный удовлетворить наши желания, а таинство, соединяющее людей навеки... Как! Мы будем вместе день и ночь, мы станем единой плотью, единым глаголом, а сердца наши будут говорить на разных языках, мы будем исповедовать разную веру, и это послужит источником постоянных размолвок! Вы обрекаете меня на тайное горе и слезы, ибо я не смогу примириться с грядущей гибелью вашей души. Как стану я обращаться к богу, зная, что его грозная десница вот-вот обрушится на вас?.. Ваши взгляды и убеждения, пропитанные деизмом, станут влиять на наших детей!.. О господи, какую грустную участь готовите вы своей супруге!.. Нет, нет, я не могу смириться с вашими идеями... О Феликс! Перейдите в мою веру, ибо я не в силах перейти в вашу! Не ройте пропасти между нами... Если б вы меня любили, то уже давно бы прочли «Подражание Христу»!

В семье Фельонов, воспитанных на идеях газеты «Конститюсьонель»[[75]](#footnote-75), не любили церковного духа. И Феликс резко ответил на эту мольбу, вырвавшуюся из груди пламенной католички:

— Вы просто повторяете урок, преподанный вам исповедником, Селеста! Поверьте мне, нет ничего опаснее вторжения священников в семью...

— О, вы не любите меня! — с негодованием воскликнула Селеста, которая говорила, движимая лишь любовью. — Голос моего сердца не достиг вашего слуха! Вы ничего не поняли, ибо даже не слушали меня, но я прощаю вас, потому что вы сами не знаете, что говорите.

Она погрузилась в гордое молчание, а Феликс принялся барабанить пальцами по оконному стеклу: занятие, хорошо знакомое людям, которыми владеют мрачные мысли. И действительно, в уме Феликса сменяли друг друга различные весьма деликатные доводы истинно фельоновского толка:

«Селеста, как известно, — богатая наследница. Приняв ее идеи, чуждые моим религиозным убеждениям, я поступлю, как человек, стремящийся к выгодному браку. Это недостойно. Как будущий глава семьи, я не могу позволить священникам приобрести влияние в моем доме. Если я уступлю сегодня, то проявлю слабость, и она приведет к другим уступкам, пагубным для моего авторитета, авторитета отца и мужа... Нет, это будет недостойно философа».

И он повернулся к любимой:

— Селеста, я готов молить вас на коленях: не смешивайте вещей, которые закон в своей мудрости отделил друг от друга. Мы живем в двух различных мирах: в здешнем мире должно считаться с велениями общества, в потустороннем мире — с велениями неба. Каждый идет своим путем к спасению. Но, живя в обществе, мы обязаны подчиняться его законам, ибо так повелел господь! Разве Христос не сказал: *«Воздайте кесарю кесарево»* ? Кесарь — это и есть общество... Забудем нашу маленькую ссору!

— Маленькую ссору! — вскричала юная католичка. — Я хочу, чтобы вы всецело владели моим сердцем, а я всецело владела вашим, вы же делите их на две половины!.. Может ли быть большее горе? Вы забываете, что брак — это священное таинство...

— Ваши ханжи и святоши забили вам голову! — вне себя от гнева воскликнул математик.

— Господин Фельон, — запальчиво прервала его Селеста, — довольно говорить на эту тему!

При этих словах Теодоз счел необходимым войти в комнату. Он увидел бледную Селесту и встревоженного преподавателя, у которого был вид влюбленного, рассердившего предмет своего обожания.

— Я услышал слово «довольно». Стало быть, чего-то было слишком много? — спросил он, переводя взгляд с Селесты на Феликса.

— Мы беседовали о религии, — ответил Фельон, — и я доказывал мадемуазель Селесте, какую опасность таит в себе вторжение религии в семейную жизнь...

— Речь шла не об этом, сударь, — резко сказала Селеста. — Мы хотели понять, могут ли муж и жена жить душа в душу, если он безбожник, а она верующая католичка.

— Но разве на свете существуют безбожники! — вскричал Теодоз, изображая на своем лице глубочайшее изумление. — И разве католичка может, к примеру, выйти замуж за протестанта? Нет, спасение супругов возможно лишь в том случае, если оба они исповедуют одну и ту же веру!.. Я сам родом из Контá, в числе моих предков был даже папа, в нашем гербе изображен серебряный ключ на червленом фоне, а в основании герба — монах на церковной паперти и пилигрим с золотым посохом в руках; наш девиз: *«Я отпираю и запираю»*. Вот почему я ревностный католик. Но в наши дни благодаря современной системе образования сплошь и рядом возникают и обсуждаются такие вопросы, как тот, о котором вы говорили!.. Я, смею вас заверить, никогда бы не женился на протестантке, будь у нее даже миллионы... и люби я ее до потери сознания! Нельзя спорить о вере. *«Uпа fides, unus Dominus»* [[76]](#footnote-76) — вот мой девиз в сфере религии и в сфере политики.

— Вы слышите? — с торжеством воскликнула Селеста, взглянув на Феликса Фельона.

— Я не святоша, — продолжал ла Перад, — я хожу к обедне в шесть часов утра, когда меня никто не видит, я пощусь по пятницам, я, наконец, верный сын церкви и никогда не предпринимаю ничего серьезного, хорошенько не помолившись богу, как делали наши предки. Но я не афиширую свою веру... Во время революции тысяча семьсот восемьдесят девятого года в нашей семье произошло событие, которое еще сильнее, чем традиции, привязало нас к святой матери-церкви. Некая злосчастная мадемуазель де ла Перад, принадлежавшая к старшей ветви рода, владеющей небольшим поместьем де ла Перад, ибо мы, я и моя семья, принадлежим к младшей ветви ла Перад де Канкоэль, правда, обе ветви наследуют одна другой, — так вот, говорю я, эта барышня за шесть лет до революции вышла замуж за одного адвоката, который придерживался модных в ту пору идей и был вольтерьянцем, иначе говоря, неверующим или, если вам угодно, деистом. Он разделял революционные идеи и занимался введением многих прелестных новшеств, наподобие культа богини Свободы и Разума. В наши края он прибыл пропитанным до мозга костей новыми идеями, фанатическим приверженцем Конвента. Свою красавицу жену он заставил играть роль богини Свободы, и несчастная сошла с ума... Она так и умерла помешанной! Так вот, мы живем в такое время, что меня не удивит, если мы станем свидетелями нового тысяча семьсот девяносто третьего года!..

Эта ловко придуманная история произвела такое впечатление на свежий и неискушенный ум Селесты, что она порывисто поднялась, поклонилась обоим молодым людям и ушла к себе в комнату.

— Ах, сударь, что вы наделали! — воскликнул Феликс, пораженный до глубины души холодным взглядом, брошенным на него Селестой и выражавшим глубокое равнодушие. — Она уже видит себя в роли богини Разума...

— Что между вами произошло? — осведомился Теодоз.

— Речь шла о моем безразличии к вопросам веры.

— Это величайшая язва нашего века, — изрек Теодоз наставительным тоном.

— Вот и я, — прощебетала г-жа Кольвиль, появляясь на пороге гостиной в изысканном туалете. — Что случилось с моей бедной дочкой? Она плачет...



— Она плачет, сударыня?.. — воскликнул Феликс. — Передайте же ей, что я завтра же принимаюсь внимательнейшим образом изучать «Подражание Христу».

И Феликс вышел на улицу вместе с Теодозом и Флавией. Спускаясь по лестнице, адвокат сжал руку своей спутнице, давая этим понять, что он в карете объяснит ей причины необычайного возбуждения молодого ученого.

Через час чета Кольвилей, Селеста и Теодоз уже входили в дом Тюилье, куда они были приглашены к обеду. Теодоз и Флавия увлекли Тюилье в сад, и адвокат сказал ему:

— Добрый друг, через неделю ты будешь награжден крестом. Попроси любезную госпожу Кольвиль рассказать тебе о нашем визите к графине дю Брюэль...

С этими словами Теодоз отошел от Тюилье, ибо он увидел Дероша, направлявшегося к нему в сопровождении мадемуазель Тюилье. Идя навстречу поверенному, молодой человек ощущал, как его сердце сжимается от ужасного предчувствия.

— Милостивый государь, — шепнул Дерош на ухо похолодевшему Теодозу, — я пришел узнать, можете ли вы уплатить двадцать семь тысяч шестьсот восемьдесят франков шестьдесят сантимов, включая издержки?..

— Вы пришли как поверенный Серизе? — воскликнул адвокат.

— Он передал ваши векселя Лушару, а вы знаете, что вас ожидает в случае ареста. У Серизе есть основания полагать, что у вас в секретере хранятся двадцать пять тысяч франков. Вы собирались уплатить ему, и он находит вполне естественным, чтобы эти деньги не залеживались у вас...

— Благодарю вас за приход, милостивый государь, — сказал Теодоз, — я предвидел этот выпад...

— Между нами говоря, — заметил Дерош, — вы его славно одурачили... Пройдоха жаждет мести и ни перед чем не останавливается: ведь он все потеряет, если вы решите отказаться от адвокатского звания и пойти в тюрьму...

— Я? — воскликнул Теодоз. — Нет, что вы, я уплачу... Но у него в руках пять векселей по пять тысяч франков каждый, что он собирается с ними делать?

— О, после того, что произошло утром, я ничего не берусь предсказывать. Знаю только одно: мой клиент злобен, как паршивый пес, и у него свои планы...

— Скажите, Дерош, — обратился ла Перад к поверенному, обвивая рукой его прямой сухощавый стан, — векселя еще у вас?

— Вы хотите уплатить по ним?

— Да, не позднее чем через три часа.

— В таком случае будьте у меня к девяти, я приму деньги и возвращу вам векселя. Но в половине десятого они уже будут у Лушара.

— Превосходно, я буду у вас в девять вечера, — сказал Теодоз.

— В девять вечера, — повторил Дерош, обводя взглядом общество, собравшееся в саду.

Увидев Селесту, которая с еще заплаканными глазами беседовала с крестной матерью, Кольвиля и Бригитту, Флавию и Тюилье, Дерош, поднявшись на широкое крыльцо и готовясь войти в переднюю, сказал провожавшему его Теодозу:

— Ну, я вижу, вы вполне можете уплатить по векселям.

Дерошу, который заставил разговориться Серизе, достаточно было одного взгляда, чтобы оценить бешеную энергию адвоката.

На следующее утро, едва рассвело, Теодоз отправился к банкиру бедняков, чтобы полюбоваться, какое впечатление произвело на его врага то, что он полностью уплатил ему долг, и попробовать сделать еще одну попытку избавиться от этого овода.

Он застал Серизе на ногах; тот беседовал с какой-то женщиной и властным тоном приказал Теодозу не подходить к ним, чтобы не мешать разговору. Молодому человеку поэтому пришлось теряться в догадках о важности этой особы; о том, что она действительно важная особа, говорил озабоченный вид ростовщика. Теодоз смутно почувствовал, что предмет, о котором велась беседа, окажет влияние на дальнейшие поступки Серизе, ибо он прочел на лице своего компаньона ожидание и надежду.

— Но, дорогая, мамаша Кардинал...

— Да, достопочтенный господин Серизе...

— Чего же вы хотите?

— Необходимо решиться...

Обрывки фраз, долетавшие до слуха адвоката, не могли пролить свет на оживленную беседу, которая велась вполголоса, а то и просто шепотом. Вынужденный сохранять неподвижность, молодой человек внимательно разглядывал г-жу Кардинал.

Госпожа Кардинал принадлежала к числу постоянных клиентов Серизе, она торговала свежей рыбой. Если парижанам знакомы создания такого рода, процветающие на рынках столицы, то иностранцы даже не подозревают об их существовании, и мамаша Кардинал, выражаясь языком газетной хроники, заслуживала интереса, который испытывал к ней адвокат. На улицах Парижа женщины ее типа встречаются сотнями, и прохожий обращает на них не больше внимания, чем посетитель выставки — на три тысячи картин, развешанных на стенах. Но тут, вдали от уличной толчеи, г-жа Кардинал приобретала значение уникального шедевра, ибо как нельзя лучше воплощала черты целой категории людей.

Ее сабо были забрызганы грязью; она надевала их поверх домашних войлочных туфель, на ногах она носила толстые шерстяные чулки. На ситцевом платье, нижней оборкой которому служил толстый слой грязи, возле самой талии виднелся широкий след от перевязи, поддерживавшей лоток. Главной частью ее туалета была шаль, шутливо именуемая в народе *кашемиром из кроличьей шерсти*, два конца этой шали были завязаны на спине, над *турнюром*; мы намеренно употребляем это слово, которое в ходу у великосветских дам, дабы пояснить, на что походили ее юбки, стянутые поперечной перевязью: они пузырились на торговке, как листья на кочане капусты. Косынка из грубого руанского ситца оставляла открытой красную шею, испещренную глубокими полосами, как ледяная поверхность водоема ла Вилетт, излюбленного места конькобежцев. На макушке у нее красовался желтый шелковый платок, повязанный весьма живописно.

Низенькая и толстая, мамаша Кардинал, должно быть, каждое утро пропускала стаканчик водки, о чем свидетельствовал багровый румянец на ее щеках. В свое время она была хороша собой. Завсегдатаи Центрального рынка, чей язык отличается грубоватой, но сочной образностью, упрекали ее в том, что она предавалась ночным удовольствиям и после зари. Голос у старухи был как иерихонская труба, и для того, чтобы не оглушить собеседника, ей приходилось говорить шепотом, как обычно делают в комнате тяжелобольного; однако это ей плохо удавалось, и она хрипела и сипела, ибо ее глотка привыкла издавать пронзительные звуки: когда мамаша Кардинал выкрикивала названия рыбы, которой торговала, ее голос достигал верхних этажей домов и мансард. Нос, напоминавший нос Рокселаны[[77]](#footnote-77), хорошо очерченный рот, голубые глаза — все, что некогда составляло ее привлекательность, теперь утопало в складках жира и густой сети морщин, покрывавших обветренное лицо. Грудь и живот этой женщины так и просились на полотно Рубенса.

— Вы что ж, хотите, чтобы я оказалась на соломе? — говорила она Серизе. — Что мне Пупилье?.. Я и сама Пупилье!.. Мне деваться некуда от всех этих Пупилье!..

Эта неистовая вспышка была потушена Серизе. Он свирепо взглянул на торговку рыбой и прошипел «Тс-с!» с таким видом, с каким это делают заговорщики.

— Ну, ладно, ступайте и взгляните, что там произошло, а потом возвращайтесь сюда, — сказал Серизе, подталкивая посетительницу к двери и что-то шепча ей на ухо.

— Итак, любезный друг, — обратился Теодоз к Серизе, — ты получил свои деньги?

— Да, мы измерили силу наших когтей, — отвечал Серизе, — они оказались одинаково длинными, прочными и острыми... Что ж дальше?

— Должен ли я сказать Дютоку, что ты получил вчера от меня двадцать семь тысяч?

— О нет, мой милый, ни слова ему!.. Если ты, конечно, меня любишь! — воскликнул Серизе.

— Послушай, — продолжал Теодоз. — Я хочу раз и навсегда понять, чего ты от меня добиваешься, я твердо решил больше ни одного дня не оставаться на раскаленных угольях, хотя вам это и доставляет удовольствие. Можешь сколько угодно водить за нос Дютока, мне это в высшей степени безразлично, но я хочу столковаться с тобой... Ты, должно быть, накопил, давая деньги в рост, не меньше десяти тысяч франков, вместе с полученными от меня двадцатью семью тысячами это составляет целое состояние, отныне ты можешь сделаться порядочным человеком. Серизе, если ты оставишь меня в покое, если ты не станешь мешать мне жениться на мадемуазель Кольвиль, я еще буду королевским адвокатом в Париже, а тебе не мешает заручиться поддержкой в судейских кругах.

— Вот мои условия, обсуждать я их не намерен: либо принимай, либо отказывайся. Ты поможешь мне сделаться главным квартиронанимателем в новом доме Тюилье сроком на восемнадцать лет, а я верну тебе один из не оплаченных еще тобою векселей. Больше я не буду становиться на твоем пути, ты сам уладишь с Дютоком вопрос об остальных четырех векселях... Если уж ты одержал верх надо мною, то легко справишься и с Дютоком...

— Я согласен, если ты готов вносить арендную плату в размере сорока восьми тысяч франков в год, причем за последний год тебе придется внести ее авансом, срок аренды начинается с октября...

— Идет, но только я заплачу сорок три тысячи, за пять тысяч пойдет твой вексель. Я видел дом, я его хорошенько осмотрел, он мне подходит.

— Еще одно условие, — прибавил Теодоз, — ты поможешь мне в борьбе с Дютоком.

— Нет, — отрезал Серизе, — ты и без того задашь ему жару, а если и я еще начну его шпиговать, то бедняга выпустит весь сок. Надо быть разумным. Несчастный не знает, откуда взять пятнадцать тысяч франков, которые он еще не внес в уплату за должность, теперь тебе это известно, и ты сможешь выкупить за пятнадцать тысяч свои векселя.

— Ну, хорошо, через две недели ты подпишешь арендный договор...

— Даю тебе время только до понедельника! Во вторник вексель на пять тысяч франков будет опротестован, если в понедельник ты не заплатишь мне деньги и Тюилье не подпишет со мною контракт.

— Ладно, пусть в понедельник! — сказал Теодоз. — Но теперь мы по крайней мере друзья?

— Мы станем ими в понедельник, — проворчал Серизе.

— В понедельник так в понедельник! Но ты хотя бы угостишь меня обедом? — усмехнулся Теодоз.

— После подписания договора я повезу тебя в «Роше де Канкаль». Там будет и Дюток. Мы вместе посмеемся... Давно уже я не смеялся.

Теодоз и Серизе пожали друг другу руки и в один голос воскликнули:

— До скорого свидания!

У Серизе были свои причины быстро сменить гнев на милость. Ему пришлось признать правоту Дероша, утверждавшего, что *«злость не способствует успеху в делах»*. Убедившись на собственном опыте в справедливости этих слов, ростовщик хладнокровно решил извлечь пользу из создавшегося положения и, как он выражался, *выпустить кровь* из коварного провансальца.

— Вы должны взять реванш, — заметил ему Дерош, — а ведь малый у вас в руках... Попробуйте-ка вытянуть из него все, что можно.

За последние десять лет немало знакомых Серизе разбогатели, сделавшись главными квартиронанимателями в домах. Главный квартиронаниматель в Париже играет в отношении домовладельца ту же роль, какую играют арендаторы в отношении землевладельцев. Весь Париж был свидетелем того, как один из прославленных портных воздвиг на небольшой площади, рядом с кафе Фраскати, на углу бульвара и улицы Ришелье, роскошный дом; он получил такую возможность потому, что был главным квартиронанимателем в особняке, арендная плата за который составляла не меньше пятидесяти тысяч франков в год. Несмотря на то, что стоимость здания достигала семисот тысяч франков, квартирная плата за девятнадцать лет должна была обеспечить ему немалые барыши.

Серизе, уже давно искавший выгодное дельце, внимательно взвесил все шансы на получение прибыли, на которую мог рассчитывать главный квартиронаниматель дома, *украденного* Тюилье, — такое выражение употребил Серизе, беседуя с Дерошем. Ловкий экспедитор понял, что через шесть лет он сможет от себя сдавать этот дом внаймы не меньше чем за шестьдесят тысяч франков, ибо в нем нетрудно было расположить четыре лавки, по две с каждой стороны, и стоял он необыкновенно удобно, на углу бульвара.

Серизе надеялся зарабатывать по десять тысяч франков ежегодно в течение двенадцати лет, не говоря о различных случайных доходах и приплатах при каждом возобновлении контракта о найме помещений: он заранее решил, что будет заключать контракты с торговцами лишь на шесть лет. Он предполагал уступить имевшиеся в его распоряжении векселя вдове Пуаре и Кадене за десять тысяч франков, десять тысяч франков у него было прикоплено; присоединив к ним деньги, полученные от Теодоза, он мог внести аванс за первый год, который домовладельцы имеют обыкновение требовать в качестве гарантии с главных квартиронанимателей. Вот почему Серизе провел блаженную ночь; засыпая, он мечтал о том недалеком времени, когда займется почтенным ремеслом и станет столь же уважаемым буржуа, как Тюилье, как Минар и многие другие.

Поэтому он решил отказаться от прежнего намерения приобрести дом, который строился на улице Жоффруа-Мари. Но пробуждение Серизе было неожиданным и необычайным: в лице г-жи Кардинал пред ним предстала Фортуна с позолоченными рогами изобилия.

Он всегда относился с некоторым вниманием к этой особе и не раз обещал ей, особенно за последний год, ссудить сумму, необходимую для покупки осла и маленькой тележки, что позволило бы ей увеличить размах своей торговли, обслуживая не только Париж, но и пригороды. Г-жа Кардинал, вдова грузчика, работавшего на Центральном рынке, имела единственную дочь, рассказами о красоте которой местные кумушки прожужжали Серизе все уши. Когда он в 1837 году поселился в этом квартале и начал давать деньги в рост, Олимпии Кардинал было всего тринадцать лет; низкий развратник обратил внимание на девочку и начал обхаживать мамашу: он помог торговке рыбой выбиться из крайней нищеты, надеясь сделать Олимпию своей любовницей. Однако в 1838 году дочка сбежала от матери и *зажила веселой жизнью*, как выражаются простые люди Парижа, желая пояснить, что женщина пускает в оборот свою красоту и молодость.

Отыскать девушку в Париже так же трудно, как поймать уклейку в Сене, — она только случайно может попасться в сети. Такой случай произошел. Мамаша Кардинал, желая отблагодарить некую кумушку, повела ее в театр Бобино и обнаружила в героине пьесы свою дочь, которая уже три года находилась в полном подчинении у первого комика театра. Сначала матери польстило, что дочь выходила на сцену в красивом парчовом платье, причесанная, как герцогиня, в ажурных чулочках и атласных туфельках, причем публика встречала ее аплодисментами. Но под конец торговка не выдержала и крикнула с места:

— Погоди, ты еще получишь от меня весточку, убийца собственной матери!.. Я узнаю, позволено ли жалким актеришкам развращать тринадцатилетних девочек!..

Госпожа Кардинал решила подстеречь дочь у выхода из театра, но героиня пьесы и первый комик, должно быть, спрыгнули со сцены прямо в зрительный зал и смешались с публикой, а тем временем вдова Кардинал и тетка Магудо, ее закадычная приятельница, подняли у служебного выхода из театра адский шум, так что двум муниципальным гвардейцам с трудом удалось их унять. Сии блюстители порядка заставили торговок несколько умерить тон и объяснили матери, что девушка в шестнадцать лет имеет право выступать на сцене; затем они посоветовали рассерженной матроне перестать скандалить возле кабинета директора театра, а обратиться лучше к мировому судье или в полицию, по ее выбору.

На следующий день г-жа Кардинал решила обратиться за советом к *нему*, ибо *он*, как ей было известно, служил в канцелярии мирового судьи; но она была буквально ошарашена появлением привратника дома, где обитал ее дядя, старик Пупилье: этот привратник, по имени Пераш, сообщил ей, что старикан вот-вот преставится и что жить ему осталось, во всяком случае, не больше двух дней.

— Ну, а я-то что могу сделать? — воскликнула торговка рыбой.

— Мы рассчитываем на вас, любезная госпожа Кардинал, ведь вы не забудете о нас во внимание к доброму совету, который мы вам дадим. Дело вот в чем: в последние дни ваш бедный дядюшка, будучи не в силах передвигаться, оказал мне доверие и поручил собрать квартирную плату в принадлежащем ему доме на улице Нотр-Дам-де-Назарет и получить причитающиеся ему по купонам ренты, выданной государственной казной, деньги в сумме тысячи восьмисот франков...

При этом известии бегающие глазки вдовы Кардинал округлились и едва не вылезли из орбит.

— Да, да, моя милая, — продолжал г-н Пераш, низенький и горбатый человечек. — Вот мы и подумали, что так как только вы одна вспоминаете о нем, навещаете его и даже приносите ему иногда рыбу, старик, быть может, захочет *отказать* вам свое состояние... Все эти дни моя жена ходила за ним и заботилась о нем, она говорила о вас, но он не разрешил сообщить вам о его болезни... Но теперь, думается, вам пора пойти к больному. Ведь он, черт побери, уже два месяца не занимается своим делом.

— Согласитесь сами, уважаемый мастер, — сказала мамаша Кардинал привратнику, который подрабатывал сапожным ремеслом, — легче поверить в то, что на ладони могут вырасти волосы, чем в то, что вы мне только что сказали!.. Как! Оказывается, мой дядюшка Пупилье, этот всем известный нищий из церкви Сен-Сюльпис, на самом деле богач! — твердила торговка рыбой, торопливо следуя за привратником по направлению к улице Оноре-Шевалье, где в отвратительной мансарде ютился ее дядя.

— Должен сказать, что он отлично питался, — заметил привратник, — каждый вечер он ложился в постель со своей подружкой — огромной бутылкой руссильонского вина. Он говорил нам, что вино стоит шесть су, но это неправда, моя жена сама его отведала. Этот славный напиток поставлял старику виноторговец с улицы Канет.

— Помалкивайте обо всем, любезный, — сказала вдова Кардинал, — я о вас позабочусь... если только после него что-нибудь останется.

Пупилье, в молодости служивший барабанщиком во французской гвардии, за несколько лет до революции 1789 года перешел на службу в церковь Сен-Сюльпис, на должность привратника. Революция лишила его этого места, и он впал в крайнюю нищету. Ему пришлось заняться ремеслом натурщика, ибо он обладал привлекательной внешностью.

Когда церковь вновь обрела свои права, Пупилье опять взял в руки алебарду; однако в 1816 году он был отрешен от должности — как по причине безнравственного поведения, так и по причине преклонного возраста: полагали, что ему семьдесят лет. Тем не менее вместо пенсии ему разрешили стоять на паперти, у входа в храм, где он предлагал святую воду. В 1820 году это доходное занятие стало предметом зависти, и Пупилье уступил его другому после того, как получил обещание, что ему разрешат собирать милостыню на паперти. Ему было в то время шестьдесят пять лет, но он утверждал, что ему девяносто шесть, ибо столетнему старцу охотнее подают.

Во всем Париже невозможно было сыскать другого человека, который мог бы похвалиться такой всклокоченной шевелюрой и бородой. Бедняга сгибался в три погибели, посох плясал в его дрожащей руке, изъеденной лишаями, как бывает изъеден гранитный утес; он протягивал прохожим неописуемую шляпу — грязную, с измятыми полями, зашитую в нескольких местах, и сердобольные люди щедро бросали в нее монеты. На ногах, обернутых тряпками и лохмотьями, он носил ветхие плетеные туфли, внутри которых были, однако, отличные мягкие стельки из конского волоса. Лицо старик посыпал и смазывал различными снадобьями, они создавали видимость язв, пятен и отеков — признаков тяжких болезней; словом, он великолепно играл роль дряхлого старца. Начиная с 1825 года Пупилье всем говорил, будто ему стукнуло сто лет, хотя на самом деле ему исполнилось лишь семьдесят. Пупилье помыкал другими нищими, он чувствовал себя полновластным хозяином паперти. И все тунеядцы, просившие милостыню на паперти, не боясь полиции, ибо они находились под защитой церковного привратника, сторожа, человека, кропившего верующих святой водой, и всего клира, уплачивали своему негласному властителю Пупилье своеобразную десятину.



Когда при выходе из церкви какой-нибудь наследник, молодой муж или крестный отец говорил, протягивая деньги: «Вот вам на всех, пусть никто не будет в обиде», — Пупилье, которого привратник, унаследовавший свою должность от старика, выталкивал вперед, прикарманивал три четверти даяния и лишь четвертую часть отдавал нищей братии; при этом он еще взимал с каждого по одному су в день. С 1820 года в душе старика теплились только два чувства — скупость и страсть к вину. Пупилье не отказывал себе в напитках, но соблюдал известную меру. Он напивался только после обеда, по вечерам, когда церковь была уже закрыта, и на протяжении двадцати лет сладко засыпал, сжимая в объятиях свою последнюю любовницу — бутылку с вином.

Каждый день спозаранку он уже стоял во всеоружии на своем посту. С утра и до обеда — а обедал старик у знаменитого папаши Латюиля, прославленного карандашом Шарле[[78]](#footnote-78), — он жевал черствые корки хлеба и делал это столь артистически, с таким безропотным видом, что подаяния сыпались на него, как из рога изобилия. Привратник и человек, кропивший верующих святой водой, с которыми Пупилье, возможно, был в сговоре, с похвалой отзывались о нем:

— Это старейший нищий нашей церкви, он еще знавал кюре Ланге, который строил Сен-Сюльпис, двадцать лет он был привратником сего храма, и до революции и после нее. Теперь ему стукнуло сто лет.

Эта краткая биография, известная всем святошам, была самой отменной рекомендацией, и ни в одной шляпе парижского нищего не набиралось к вечеру столько монет. В 1826 году Пупилье купил себе дом, а в 1830 году приобрел государственную ренту.

Оба этих источника дохода приносили ему до шести тысяч франков в год, и он, по примеру Серизе, давал деньги в рост; стоимость дома, принадлежавшего Пупилье, достигала сорока тысяч франков, а стоимость ренты — сорока восьми тысяч. Племянница старого хитреца, как и привратники, младшие служители церкви и верующие, не подозревала о богатстве Пупилье и думала, что он беднее ее; вот почему она порою приносила ему рыбу. Поэтому мамаша Кардинал сочла себя вправе извлечь пользу из своих приношений и сочувствия к старику, у которого, видимо, имелась целая куча не известных ей родственников по боковой линии: ведь сама она была третьей дочерью рассыльного, и у нее было четыре брата. В детстве отец рассказывал девочке, что у нее есть три тетки и четверо дядюшек, ведущих самое нелепое существование.

Проведав старика Пупилье, г-жа Кардинал опрометью кинулась к Серизе, чтобы посоветоваться с ним. Она рассказала ростовщику о встрече с дочерью, а затем поделилась множеством соображений, наблюдений и признаков, указывавших на то, что старик, должно быть, прячет целую кучу золота в постели. Мамаша Кардинал не знала, каким способом — законным или незаконным — лучше завладеть наследством нищего, и поэтому сочла полезным довериться Серизе.

Ростовщик бедняков смахивал на золотаря, который, копаясь в нечистотах, порою находит там драгоценности: Серизе уже четыре года барахтался в грязи, поджидая такого случая, он знал, что подобные вещи порою происходят в предместьях, где люди, еще вчера носившие сабо, назавтра просыпаются богатыми наследниками. Вот почему он столь благодушно беседовал с человеком, которого поклялся разорить... Надо ли говорить, в какой тревоге Серизе ожидал возвращения вдовы Кардинал: этот мастер низких интриг дал ей точные указания, каким путем проверить возникшие у нее подозрения, что нищий прячет у себя в комнате сокровище. На прощание Серизе пообещал торговке золотые горы, если она согласится поручить ему собрать золотую жатву. Экспедитор принадлежал к числу людей, не останавливающихся даже перед преступлением, особенно если преступление это можно совершить чужими руками, а барыш присвоить себе. Мысленно он уже покупал дом на улице Жоффруа-Мари, видел себя парижским буржуа, капиталистом, ворочающим делами.

— Любезный мой Бенжамен, — воскликнула торговка рыбой, возвращаясь к Серизе, вся красная от быстрого бега и алчности, — мой дядюшка прячет в матрасе по меньшей мере сто тысяч франков золотом!.. Я уверена, эти Пераши и взялись-то ухаживать за ним, чтобы *запустить руку* в его кубышку.

— Если разделить это состояние между сорока наследниками, — заметил Серизе, — то каждому не много достанется. Послушайте, мамаша Кардинал, я женюсь на вашей дочери, дайте ей в приданое золото своего дядюшки, а я вам оставлю его ренту и дом... с пожизненным пользованием доходами.

— А мы ничем не рискуем?

— Ничем.

— По рукам! — вскричала вдова Кардинал. — Ох, и заживу же я на шесть тысяч франков дохода!

— И в придачу у вас будет такой зять, как я, — прибавил Серизе.

— Стало быть, я отныне буду принадлежать к парижским богачам! — в упоении заявила торговка.

— А теперь, — продолжал Серизе после паузы, вызванной тем, что будущие зять и теща лобызали друг друга, — я должен произвести разведку на местности. Отправляйтесь к дядюшке и никуда не уходите оттуда. Привратнику скажите, будто ждете врача, этим врачом буду я, смотрите только не покажите вида, что мы знакомы.

— Ну и ловкач же ты, ну и пройдоха! — воскликнула мамаша Кардинал и на прощание похлопала Серизе по животу.

Через час Серизе, одетый в черную пару с рыжим париком на голове и искусно загримированным лицом, прибыл на улицу Оноре-Шевалье в наемном кабриолете. Он попросил указать ему жилище нищего по имени Пупилье. Привратник, тачавший в это время сапог, осведомился у него:

— Сударь, вы и есть врач, которого ждет госпожа Кардинал?

Серизе утвердительно кивнул головой, и горбун проводил его к узкой лестнице, которая вела на мансарду, где жил нищий.

Пераш вышел на порог привратницкой и принялся расспрашивать кучера кабриолета; тот подтвердил, что господин, которого он привез, — действительно доктор.

Дом, где проживал Пупилье, принадлежал к числу тех плоских и длинных зданий, какими застроена улица Оноре-Шевалье — одна из самых узких в квартале Сен-Сюльпис. Закон запрещал домовладельцу надстраивать и восстанавливать строение, и тот был вынужден сдать внаем этот барак в том виде, в каком он его приобрел. Дом с необыкновенно уродливым фасадом был двухэтажный с мансардами. Справа и слева к нему под углом были пристроены два флигелька. Двор заканчивался садом, им пользовались жильцы квартиры, расположенной во втором этаже. Сад, где росло немало деревьев, был отделен от двора решеткой; будь домовладелец человеком богатым, он мог бы продать сад вместе с домом городу, а во дворе построить новое здание. Однако домовладелец был небогат, к тому же он отдал внаем второй этаж сроком на восемнадцать лет какому-то загадочному человеку, которого не мог раскусить ни сыщик-любитель, каким был знакомый нам привратник, ни жильцы, отнюдь не страдавшие отсутствием любопытства.

Этот квартиронаниматель, человек лет семидесяти, еще в 1829 году пристроил к окну флигелька, выходившего в сад, специальную лестницу, позволявшую ему спускаться, минуя двор, в этот сад и прогуливаться в нем. Левую половину нижнего этажа занимал брошюровщик, лет десять назад превративший каретные сараи и конюшни в мастерские, а правую половину — переплетчик. Оба они занимали также половину мансард, выходивших на улицу. Мансарды, шедшие над флигелем, чьи окна глядели в сад, принадлежали загадочному жильцу. Мансарда же, венчавшая второй флигелек, служила жилищем Пупилье, он платил за нее сто франков в год; попасть туда можно было по лестнице, освещенной узкими оконцами. Ворота были с глубокой нишей, так как на этой узкой улице две телеги уже не могли разъехаться.

Серизе ухватился за веревку, заменявшую перила на лестнице, которая вела в комнату, где умирал старик. Там его глазам должно было предстать зрелище показной нищеты.

В Париже все, что люди делают намеренно, им великолепно удается. Нищие в этом смысле не составляют исключения: они напоминают лавочников, искусно украшающих витрины, и людей, которые, желая получить кредит, ловко пускают пыль в глаза заимодавцам.

Пол в комнате Пупилье никогда не подметался; дерева не было видно, оно было скрыто своеобразной циновкой, образовавшейся из нечистот, пыли, высохшей грязи и различного мусора. Дрянная чугунная печурка с трубой, выведенной в простенок над полуразрушенным камином, украшала это логово; в глубине виднелся альков, там стояла кровать, чем-то напоминавшая гробницу; полог из зеленой саржи настолько обветшал и изорвался, что походил на кружево. Слепое оконце являло взору такое пыльное и грязное стекло, что занавеска тут была излишней. Стены, некогда побеленные, теперь были покрыты густым слоем копоти: нищий топил печурку углем и торфом. На камине стоял выщербленный кувшин для воды, две бутылки и разбитая тарелка. Источенный червями, убогий комод служил вместилищем для белья и чистой одежды. Вся мебель в комнате состояла из дешевого ночного столика, неструганого стола стоимостью в два франка и двух кухонных стульев с продавленными сиденьями из соломы. Живописное платье старика висело на гвозде, из-под кровати высовывались растоптанные плетеные туфли, заменявшие башмаки. Чудодейственный посох и шляпа находились возле алькова.

Войдя в комнату, Серизе бросил взгляд на больного: тот лежал на почерневшей от грязи подушке без наволочки. Его резко очерченный профиль, напоминавший те, какими в прошлом веке граверы любили украшать барельефы, которые и ныне еще можно встретить на домах вдоль бульваров, вырисовывался темным силуэтом на фоне зеленого занавеса. Пупилье, высокий и костистый старик, пристально созерцал какой-то воображаемый предмет в изножье кровати; он даже не пошевелился, услышав, как заскрипела тяжелая, обитая железом дверь с крепким засовом, надежно закрывавшая вход в жилище.

— Он в сознании? — спросил Серизе.

Мамаша Кардинал испуганно попятилась от неожиданности: она узнала вошедшего только по голосу.

— Вроде в сознании, — ответила она.

— Выйдем на лестницу, там нас никто не услышит. Вот мой план, — зашептал Серизе на ухо своей будущей теще. — Старик сильно ослабел, но вид у него еще бодрый, так что в нашем распоряжении не меньше недели. Впрочем, я привезу сюда надежного врача. Сам я снова приду во вторник с шестью головками мака. Пупилье в таком состоянии, что настой из мака, которым мы его попотчуем, заставит сердечного уснуть крепким сном. Я пришлю вам походную кровать под тем предлогом, что вам придется проводить ночи возле больного. Мы перенесем его с кровати под зеленым балдахином на походную и узнаем, много ли денег хранится в драгоценном ложе. Ну, а там придумаем, как их вынести! Врач скажет нам, сколько дней осталось жить старику и, главное, способен ли он еще написать завещание...

— Сынок!.. — вырвалось у торговки.

— Но мне надо знать, кто живет в этом дрянном бараке! Пераши могут поднять тревогу, а потом, как говорится, сколько жильцов, столько и шпионов!

— Пустяки! Я уже узнала, что бельэтаж занимает некий господин дю Портайль, невысокий старичок, опекун сумасшедшей девушки по имени Лидия, я слышала, как он с нею утром разговаривал. Ходит за ней старая фламандка, ее зовут Катт. У старика в услужении есть еще камердинер, Брюно, он все делает по дому, только обед не варит.

— Да, но переплетчик и брошюровщик, — заметил Серизе, — работают с раннего утра... А пока пойдем в мэрию. Для оглашения о предстоящем браке мне нужно указать все имена вашей дочери и место ее рождения, чтобы выправить необходимые бумаги. В следующую субботу, в восемь вечера, сыграем свадебку!

— Ну и хват, ну и молодец! — проговорила мамаша Кардинал, по-свойски толкая плечом грозного зятя.

Спустившись по лестнице, Серизе с удивлением увидел, что маленький старичок дю Портайль прогуливается по саду с одним из самых влиятельных членов правительства, графом Марсиалем де ла Рош-Югоном. Экспедитор остановился во дворе и сделал вид, будто внимательно изучает старый дом, построенный еще во времена Людовика XIV; желтые стены из тесаного камня обветшали не меньше, чем старик Пупилье. Исподтишка Серизе кинул взгляд на обе мастерские и подсчитал число работников в них. В доме было тихо, как в монастыре. Сделав нужные наблюдения, Серизе удалился, размышляя о трудностях, с какими будет сопряжено похищение денег, запрятанных умирающим, хотя, как известно, золото занимает не много места.

— Вынести деньги ночью? — пробормотал Серизе. — Но привратник и его жена все время начеку, а днем — и того хуже, за тобой будут следить двадцать пар глаз... Не так-то просто вынести на себе двадцать пять тысяч франков золотом...

Человеческому обществу присущи две формы совершенства: в первом случае цивилизация и нравственность находятся на столь высоком уровне, что уже сами по себе исключают возможность преступления; иезуиты стремились к этой возвышенной форме совершенства, которая была свойственна ранним христианам; во втором случае цивилизация находится на таком уровне, когда взаимное наблюдение граждан друг за другом делает преступление невозможным. Именно к такой форме совершенства стремится современное общество: в нем преступление сопряжено с такими трудностями, что только человек, неспособный рассуждать, совершает его. И действительно, ни одно из правонарушений, даже ускользнувших от возмездия закона, не остается безнаказанным, и приговор общественного мнения бывает подчас еще суровее, нежели судебный приговор. Пусть какой-нибудь человек, подобно Миноре, нотариусу из Немура, уничтожит завещание без свидетелей, это преступление будет раскрыто людьми добродетельными так же, как воровство раскрывается полицейскими агентами. Любое проявление непорядочности будет раньше или позже замечено, и любой тайный ущерб, нанесенный ближнему, так или иначе станет явным. В наши дни ни люди, ни вещи не исчезают бесследно, особенно в Париже, где предметы обстановки перенумерованы, дома охраняются, улицы находятся под наблюдением, площади кишат добровольными шпионами. Нарушение закона получает право на существование лишь в том случае, если его санкционирует столь авторитетное учреждение, как биржа, или если оно совершается с общего согласия: так, к примеру, клиенты Серизе не жаловались на незаконные поборы, которыми облагал их ростовщик; больше того, они бы задрожали от ужаса, если бы не нашли его на посту — в кухне, во вторник утром.

— Ну, что вы скажете, сударь, — спросила привратница, идя навстречу Серизе, — как себя чувствует наш бедный больной, этот божий человек?..

— Я поверенный госпожи Кардинал, — ответил Серизе, — и посоветовал ей поставить в комнате старика походную кровать, чтобы ухаживать за ним. Я нынче же пришлю нотариуса, врача и сиделку.

— О, с обязанностями сиделки я бы отлично управилась, — заметила госпожа Пераш, — ведь я ходила за роженицами.

— Ну что ж! Там видно будет, — отозвался Серизе, — я это улажу... Скажите, кто занимает бельэтаж?

— Господин дю Портайль... Он уже тридцать лет здесь живет, это рантье, весьма почтенный старик... Вы, верно, и сами знаете, рантье живут на свою ренту... В прошлом он ворочал делами... Скоро уже одиннадцать лет, как он пытается вернуть рассудок дочке одного из своих друзей, мадемуазель Лидии де ла Перад. О, за ней так заботливо ухаживают, ее пользуют два самых знаменитых врача... Но только до сих пор все было напрасно, рассудок к бедняжке не возвращается!

— Ее зовут Лидия де ла Перад? — изумился Серизе. — Вы уверены?

— Ее гувернантка, госпожа Катт, она, кстати, и обед готовит, называла мне это имя сто раз, хотя, вообще говоря, ни господин Брюно, камердинер старика, ни госпожа Катт болтать не любят. Обращаться к ним с вопросами бесполезно: молчат, как каменные... Мой муж уже двадцать лет привратник, а о господине дю Портайле мы так ничего толком и не выведали. Я вам вот еще что скажу, сударь, ведь ему принадлежит боковой флигель, видите, вон там, где калитка! А потому он может по своему желанию выходить на улицу и принимать гостей, а мы о том даже и не знаем. Да и наш домовладелец знает не больше, чем мы: ведь, когда звонят у калитки, открывать идет господин Брюно...

— Стало быть, вы не видали, как вошел человек, с которым сейчас беседует ваш загадочный старичок? — спросил Серизе.

— Вот так штука! А я и не подозревала, что к нему кто-то пришел...

«Лидия — дочь дяди Теодоза, — сказал себе Серизе, усаживаясь в кабриолет. — А дю Портайль, должно быть, тот самый таинственный покровитель, который в свое время прислал моему дружку две с половиной тысячи франков... Что, если я предварю старика анонимным письмом об опасности, угрожающей молодому адвокату, который должен по векселям двадцать тысяч франков?»

Через час походная кровать для г-жи Кардинал была доставлена; любопытная привратница предложила торговке свои услуги для приготовления обеда.

— Не хотите ли вы повидать господина кюре? — спросила мамаша Кардинал у больного, с интересом разглядывавшего новую кровать.

— Я хочу вина! — проворчал нищий. — И ничего больше.

— Как вы себя чувствуете, папаша Пупилье? — осведомилась привратница.

— Никак я себя не чувствую, — ухмыльнулся старик, — вот уже двенадцать дней, как я не занимаюсь своим ремеслом...

Этот человек, много лет стоявший на паперти церкви Сен-Сюльпис, считал нищенство ремеслом...

— Он приходит в себя, — прошептала мамаша Кардинал.

— Они меня обворовывают, они там управляются без меня, — продолжал старик, бросая вокруг угрожающие взгляды. — А, это ты, крошка Кардинал? Клянусь святым храмом...

— Как я рада, что вы пришли в себя! — воскликнула крошка Кардинал, которой было без малого сорок лет.

Старец снова откинулся на подушку.

— Неважно, он еще в силах подписать завещание, как говорит наша *обезьяна*, — проворчала торговка рыбой.

Читателю должно быть известно, что в народе прозвище «обезьяна» дается поверенным и нотариусам. Называют так и подрядчиков.

— Надеюсь, вы обо мне не забудете, — умильным голосом сказала привратница. — Ведь это я велела Перашу сходить за вами.

— Забыть о вас? Да я скорее забуду о боге, моя милая... Какая же я буду Пупилье, если, получив свою долю, не насыплю вам полный передник монет...

Вечером снова вернулся Серизе; он покончил со всеми хлопотами, связанными с получением необходимых для бракосочетания бумаг, и побывал в мэриях двух округов, где сделал оглашение. Одной чашки настоя из мака оказалось достаточно, чтобы усыпить старика Пупилье. Достойная племянница и Серизе взяли больного за голову и за ноги и перенесли его с одной кровати на другую. Затем, не испытывая никакого стыда, торопливо перерыли постель; они даже вспороли матрас, этот несгораемый шкаф нищих. В матрасе ничего не оказалось, зато под ним вместо сетки они увидели деревянный ящик. Нетерпеливые наследники вскоре обнаружили в ящике двойное дно, и тогда стало понятно, почему мамаша Кардинал не смогла утром сдвинуть с места это тяжелое ложе. Через несколько минут Серизе, тщательно исследовав тайник, понял, что внутренний ящик замаскирован дощечкой, которая выдвигается, подобно крышке пенала. Он вытащил эту деревянную пластинку, и его глазам открылись четыре ящика, шириною в три дюйма каждый, набитые золотыми монетами.

— Мы заменим золото медяками, — ухмыльнулся Серизе, подталкивая локтем свою сообщницу.

— А много ли тут денег?

— Больше ста тысяч франков, в каждом ящике — по меньшей мере тридцать тысяч, — ответил Серизе, — славное приданое для вашей дочери. А теперь перенесем старика на его кровать. Раз секрет тайника нам известен, мы без труда разработаем эту золотую жилу...

— Должно быть, он откопал такую кровать скупца у какого-нибудь торговца мебелью, — заметила госпожа Кардинал.

— Давайте посмотрим, смогу ли я унести за раз тысячу монет по сорок франков, — сказал Серизе, набивая золотом карманы.

В карманы панталон вошло триста золотых монет, в жилетные — двести, а в каждый из двух карманов сюртука он вложил по двести пятьдесят монет, предварительно завязав их в свой носовой платок и в платок мамаши Кардинал.

— Ну как, очень заметно, что я нагружен? — спросил он, прохаживаясь по комнате.

— Вовсе нет!..

— Так вот, за четыре раза я перетащу к себе все золото из ящиков.

Спящего старика перенесли на его ложе, а Серизе отправился на площадь Сен-Сюльпис, где нанял фиакр и поехал домой. Чтобы не возбуждать подозрений, он вскоре вновь возвратился в сопровождении врача из квартала Сен-Марсель, обычно пользовавшего бедняков и хорошо знавшего их недуги. Осмотр больного продолжался до девяти часов вечера. Врач, введенный в заблуждение глубоким забытьем больного, которое было вызвано настойкой мака, заявил, что тот не протянет и трех дней. Как только врач уехал, Серизе взял...

*(На этом заканчивается текст, оставленный Бальзаком).*

## КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОДОЛЖЕНИЯ РОМАНА «МЕЛКИЕ БУРЖУА», КОТОРОЕ НАПИСАНО ШАРЛЕМ РАБУ

Серизе и г-жа Кардинал усыпляют Пупилье с помощью наркотического средства и все перерывают в его логове. В конце концов они обнаруживают тайник, где хранятся золото и драгоценные камни; они уже собираются завладеть этим богатством, когда появляется дю Портайль, следивший за ними. Он выставляет за дверь г-жу Кардинал и после нескольких угрожающих слов, по достоинству оцененных Серизе, назначает незадачливому экспедитору свидание на следующий день.

Во время этой встречи Серизе рассказывает дю Портайлю о намерении Теодоза де ла Перада жениться на Селесте Кольвиль; дю Портайль, со своей стороны, открывает Серизе некоторые планы, касающиеся Теодоза: оказывается, пораженная безумием девушка, которую опекает дю Портайль, — побочная дочь одного из его друзей, Перада, умершего лет десять назад. Только что скончавшийся Пупилье оставил завещание в ее пользу, так что девушка богата, и дю Портайль намерен выдать ее замуж за Теодоза, который доводится ей двоюродным братом; опекун надеется, что брак и материнство вернут несчастной разум. Вот почему необходимо любой ценой расстроить свадьбу Теодоза и Селесты. Серизе соглашается принять участие в заговоре и берется уломать Теодоза. Тот отказывается, упорствует в своих планах, связанных с семейством Тюилье, и, чтобы порвать всякие отношения с бывшими сообщниками, уплачивает долг Дютоку.

###### ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Несмотря на неудачу, дю Портайль не признает себя побежденным и продолжает прилагать усилия к тому, чтобы поссорить ла Перада с семейством Тюилье, прижать адвоката к стене и заставить его капитулировать. Некая дама, г-жа Торна, графиня де Годолло, приехавшая из Венгрии, становится близкой подругой мадемуазель Тюилье, у которой она проводит дни и вечера. Эта женщина использует все свое влияние в доме Тюилье, чтобы разрушить планы Теодоза и помочь Феликсу Фельону добиться руки Селесты Кольвиль. Срок, который Тюилье предоставил Селесте, чтобы она остановила свой выбор на одном из женихов, подходит к концу. Г-жа де Годолло предпринимает последнюю попытку помочь Феликсу: на одном из вечеров у мадемуазель Тюилье она, рассыпаясь в похвалах молодому ученому, сообщает о том, что ей стало известно из надежных источников, будто он обратился к религии. Появляется Феликс и с присущим ему благородством опровергает эту ложь во спасение. Возмущенная такой наивностью, графиня де Годолло объявляет Теодозу, что переходит на его сторону.

Между тем брошюра, которую Теодоз пишет совместно с Тюилье на тему «Налоги и возмещение долгов», выходит в свет. Она навлекает на себя преследование за «превышение прав прессы, призывы к ненависти и к пренебрежению в отношении правительства». Перепуганный Тюилье накидывается на ла Перада и выгоняет его из дому. В действительности преследование это — дело рук графини де Годолло, которая объявляет Теодозу, что она затеяла все из любви к нему. Восхищенный этим признанием, Теодоз является в дом Тюилье и довершает разрыв со своим *добрым другом*, затем возвращается к г-же де Годолло за наградой. Однако эта особа уже успела уехать в Венгрию, она присылает Теодозу с дороги письмо и сообщает, что ее поведение — лишь игра, которую она вела в интересах дю Портайля. Она советует ла Пераду как можно скорее повидаться с дю Портайлем.

Пришедший в ярость, Теодоз впадает затем в отчаяние и тяжело заболевает; в довершение всего становится известно, что по доносу дю Портайля ему придется предстать перед советом корпорации адвокатов, чтобы дать объяснения по поводу покупки дома возле церкви Мадлен.

После выздоровления Теодоза Лусто предлагает ему уговорить Тюилье приобрести небольшую газету «Эко де ла Бьевр»: она может принести пользу Тюилье в связи с тем, что он выдвигает свою кандидатуру в Палату депутатов. Кажется, обстоятельства снова начинают благоприятствовать ла Пераду: Тюилье покупает газету и поручает руководство ею Теодозу, которому он вновь торжественно обещает руку Селесты. Молодой человек приглашает в качестве редактора «отважного Серизе». Это как нельзя больше на руку дю Портайлю: Серизе, по его наущению, убеждает Тюилье, будто Теодоз, продавшись полиции, злонамеренно вставил в брошюру, написанную им совместно с Тюилье, фразы, за которые автору придется ответить перед судом присяжных. Ла Пераду с огромным трудом удается оправдаться, и он выгоняет Серизе. Его брак с Селестой окончательно решен, и уже назначен день для подписания брачного контракта.

День этот вносит много беспокойства в дом Тюилье. Внезапно становится известно, что Феликс Фельон, талантливый молодой астроном, открыл новую звезду; в своем докладе Академии наук он великодушно объявил, будто честь этого открытия принадлежит не ему, а его старому учителю господину Пико, которому глубоко любящий его Феликс уже много лет оказывает денежную поддержку. Собравшиеся у Тюилье гости тщетно ждут нотариуса для заключения брачного контракта: выясняется, что тот бежал вместе с кассой в Бельгию. Феликс, награжденный за свое замечательное открытие орденом Почетного легиона, объявляет о своем намерении обратиться к религии.

При этом известии кроткая г-жа Тюилье пытается в меру своих сил воспротивиться решению о браке ее крестницы Селесты с Теодозом. В семействе Тюилье-Кольвиль все становится вверх дном. Бригитта Тюилье складывает свои вещи. Тогда Теодоз решает обратиться непосредственно к Селесте. Он лицемерно доказывает девушке, что она должна подчинить свои чувства воле мадемуазель Тюилье, а главное, позаботиться о спокойствии крестной матери. Селеста покоряется и дает Теодозу согласие выйти за него замуж.

Дю Портайль понимает, что наступило время вмешаться: он является к Тюилье и раскрывает ему истинное лицо де ла Перада. После ухода дю Портайля Тюилье спешит взять обратно слово, данное Теодозу, и посылает молодого человека за объяснениями к самому дю Портайлю. Тот разъясняет ла Пераду причины своего поведения и свои намерения на его счет: неприглядное прошлое Теодоза, долги, связи с подозрительными людьми, которые *держат его в руках*, мошеннические проделки, в которых он участвовал и которые привели к его исключению из корпорации адвокатов, — все это препятствует браку с девушкой из буржуазной среды. Теодозу не остается ничего иного, кроме женитьбы на воспитаннице дю Портайля Лидии; она двоюродная сестра Теодоза, дочь известного полицейского агента Перада. Лидия красива и богата, замужество вернет ей разум; женившись на ней, адвокат станет наследником самого дю Портайля. И дю Портайль открывает наконец Теодозу свое настоящее имя: оказывается, он Корантен[[79]](#footnote-79), «префект тайной дипломатической и политической полиции», «величайший полицейский чиновник современности», как говорит о нем автор статьи, помещенной в сборнике «Биографии выдающихся деятелей наших дней». Узнав, что его ждет богатое наследство, Теодоз соглашается.

В результате происков дю Портайля и де ла Перада Тюилье проваливается на выборах в Палату депутатов, и Феликс Фельон женится наконец на Селесте Кольвиль.

1. *Констанс‑Виктуар.* — Этими именами (Постоянство и Победа) Бальзак называет графиню Эвелину Ганскую (1800—1882), польскую помещицу. В феврале 1832 года Бальзак получил от Ганской письмо, подписанное: «Иностранка». С 1833 года началась регулярная переписка писателя с Ганской, которая в 1850 году стала его женой. [↑](#footnote-ref-1)
2. *...некий выдающийся писатель говорил о «безразличии в вопросах веры».* — Речь идет о Ламенне (1782—1854) — французском богослове и реакционном публицисте, представителе так называемого «христианского социализма». Ламенне — автор «Опыта о безразличии в вопросах религии» (1817—1823). [↑](#footnote-ref-2)
3. *Old mortality* — прозвище одного из персонажей романа Вальтера Скотта «Пуритане»; здесь — старый могильщик. [↑](#footnote-ref-3)
4. По украшению (*итал.*). [↑](#footnote-ref-4)
5. *Уравнивая состояния, параграф Кодекса...* — Гражданский кодекс, введенный в действие Наполеоном в 1804 году, отменил преимущественное право наследования старших детей. [↑](#footnote-ref-5)
6. *Фаланстеры.* — Согласно учению французского социалиста‑утописта Шарля Фурье (1772—1837), фаланстеры — общественные дворцы, где будут жить и работать на коллективных началах члены будущего идеального социалистического общества. [↑](#footnote-ref-6)
7. *Дисконтер* — человек, производящий учет векселей. [↑](#footnote-ref-7)
8. *Председатель парламента.* — До революции 1789—1794 годов парламентами во Франции назывались высшие суды, на которые возлагались некоторые административные функции. В стране было 12 парламентов. [↑](#footnote-ref-8)
9. «Досуг и достоинство» (*лат.*). [↑](#footnote-ref-9)
10. *Пьер Грассу* — персонаж одноименного рассказа Бальзака. [↑](#footnote-ref-10)
11. *Богиня Беллона* — в древнеримской мифологии богиня войны. [↑](#footnote-ref-11)
12. *Байард* , Пьер дю Террайль (ок. 1473—1524) — французский полководец. Историческое предание изображало его образцом рыцарской чести и доблести, «рыцарем без страха и упрека». [↑](#footnote-ref-12)
13. *Когда пало министерство Виллеля...* — В начале 1828 года министерство ультрамонархиста Виллеля потерпело поражение на выборах и должно было уйти в отставку. [↑](#footnote-ref-13)
14. *...как принцесса Орлеанская верит в Луи‑Филиппа.* — Имеется в виду Аделаида Орлеанская, сестра короля Луи‑Филиппа. [↑](#footnote-ref-14)
15. *Пилад* — в древнегреческой мифологии неразлучный друг Ореста, сына аргосского царя. Нарицательное имя верного, преданного друга. [↑](#footnote-ref-15)
16. *...этого Линдора и Дон‑Жуана* — то есть соблазнителя. Под именем Линдора добивается любви красавицы Розины граф Альмавива — герой комедии Бомарше «Женитьба Фигаро». [↑](#footnote-ref-16)
17. *Арпан* — старинная французская мера площади (около половины гектара). [↑](#footnote-ref-17)
18. *...во Французский банк с первых дней его основания.* — Французский банк был основан в 1800 году. [↑](#footnote-ref-18)
19. *Г‑н де ла Биллардиер... и г‑н Рабурден* — персонажи романа Бальзака «Чиновники». [↑](#footnote-ref-19)
20. *«Деревенский колдун»* — комическая опера Ж.‑Ж. Руссо. [↑](#footnote-ref-20)
21. *Вулкан* — в римской мифологии бог огня и кузнечного ремесла, изображался хромым и уродливым. [↑](#footnote-ref-21)
22. *Конгрегации* — объединения католических монастырей, принадлежащих к одному и тому же ордену; во времена Реставрации, главным образом при Карле X, были важнейшими проводниками политической реакции, особенно могущественной была конгрегация иезуитов. [↑](#footnote-ref-22)
23. *Пансион Сен‑Дени* — закрытое учебное заведение для дочерей кавалеров ордена Почетного легиона, основанное Наполеоном I. [↑](#footnote-ref-23)
24. *Старшая ветвь Бурбонов.* — Людовик XVIII и Карл X принадлежали к так называемой «старшей ветви» династии Бурбонов и вели свою родословную от Генриха IV (XVI век). Луи‑Филипп, вступивший на престол после Июльской революции 1830 года, принадлежал к герцогам Орлеанским — «младшей ветви» Бурбонов. [↑](#footnote-ref-24)
25. *Тюильри* — дворец Тюильри был резиденцией короля Луи‑Филиппа Орлеанского. [↑](#footnote-ref-25)
26. Селеста (céleste) — небесная (*франц.*). [↑](#footnote-ref-26)
27. *«Золотая середина».* — Во время Июльской монархии (1830—1848) принцип «Золотой середины» был провозглашен королем Луи‑Филиппом и стал политическим идеалом французской буржуазии. [↑](#footnote-ref-27)
28. *...тем адвокатам, которые после 1830 года покинули Дворец Правосудия.* — Большая группа парижских адвокатов‑легитимистов после Июльской революции 1830 года не признавала законность вступившего на престол Луи‑Филиппа Орлеанского и в знак протеста покинула Дворец Правосудия. [↑](#footnote-ref-28)
29. *...вы походили на Бонапарта до Восемнадцатого брюмера* — то есть на человека, еще не достигшего полной власти. 18 брюмера 1799 года (9 ноября) во Франции произошел государственный переворот, власть в стране была передана трем консулам. Первым консулом и фактическим правителем Франции стал Наполеон Бонапарт. [↑](#footnote-ref-29)
30. *...зловещие катастрофы у стен монастыря Сен‑Мерри и на улице Транснонен.* — 5—6 июля 1832 года в Париже вспыхнуло республиканское восстание. Центром героического вооруженного сопротивления республиканцев стали баррикады, примыкавшие к монастырю Сен‑Мерри. В 1834 году в Париже началось восстание республиканцев в знак солидарности с восставшими рабочими в Лионе. В течение двух дней (13, 14 апреля) восставшие оказывали героическое сопротивление правительственным войскам. Группа восставших, в том числе много женщин, была зверски расстреляна на улице Транснонен. [↑](#footnote-ref-30)
31. *...династию, которую привел к власти Июль* — то есть Орлеанскую династию. [↑](#footnote-ref-31)
32. *...о пресловутом деле Рабурдена...* — См. роман Бальзака «Чиновники». [↑](#footnote-ref-32)
33. *Дамы держали сторону иезуитов...* — Речь идет о борьбе иезуитов против контроля Университета над частными лицеями, разгоревшейся в 40‑х годах XIX века. [↑](#footnote-ref-33)
34. *Олений парк* — особняк в Париже, принадлежавший Людовику XV, где по его приказанию устраивались тайные оргии. [↑](#footnote-ref-34)
35. *Неккер* , Жак (1732—1804) — женевский банкир, переселившийся во Францию; был министром финансов при Людовике XVI. [↑](#footnote-ref-35)
36. *Максимум.* — В сентябре 1793 года якобинский Конвент принял декрет о введении твердых цен на продукты питания, промышленные товары и сырье. Этот декрет был направлен против спекулянтов. [↑](#footnote-ref-36)
37. *Договоры 1815 года.* — Имеются в виду мирные договоры между союзниками и Францией, подписанные в 1815 году, после отречения Наполеона. [↑](#footnote-ref-37)
38. *...королева Елизавета этого семейного очага...* — Здесь Бальзак сравнивает мадемуазель Бригитту с английской королевой Елизаветой (годы правления — 1558—1603), которая не была замужем. [↑](#footnote-ref-38)
39. *Цивильный лист* — при конституционной монархии определяемая парламентом денежная сумма для личного пользования короля, а также на содержание королевского двора и придворных. [↑](#footnote-ref-39)
40. *Ларошфуко* , Лианкур‑Франсуа (1747—1827) — французский общественный деятель, ученый‑естественник, основал первое во Франции сельскохозяйственное учебное заведение. [↑](#footnote-ref-40)
41. Здесь: «Каждому по его заслугам» (*лат.*). [↑](#footnote-ref-41)
42. *Сен‑Симон* , Анри‑Клод (1760—1825) — французский социалист‑утопист. [↑](#footnote-ref-42)
43. *...в Париж он приехал, чтобы проведать дядю... но узнал, что тот умер за три дня до этого...* — См. роман Бальзака «Блеск и нищета куртизанок». [↑](#footnote-ref-43)
44. *Министерство Перье.* — Казимир Перье (1777—1832) — крупный французский банкир, способствовал воцарению Луи‑Филиппа Орлеанского; в 1831 году возглавил кабинет министров, принадлежал к партии сопротивления, считавшей, что с приходом к власти Луи‑Филиппа все задачи Июльской революции 1830 года разрешены. [↑](#footnote-ref-44)
45. *«Павел и Виргиния»* — роман‑идиллия французского писателя Бернардена де Сен‑Пьера (1737—1814). [↑](#footnote-ref-45)
46. *Казимир Делавинь* — французский поэт и драматург, стремившийся соединить в своем творчестве художественные принципы классицизма и романтизма. [↑](#footnote-ref-46)
47. *Пармантье* , Антуан‑Огюст (1737—1813) — французский агроном и экономист, способствовал введению культуры картофеля во Франции. [↑](#footnote-ref-47)
48. *Человек в коротком синем плаще* — Эдм Шампион (1764—1852) — богатый ювелир, занимавшийся благотворительностью с целью приобретения популярности. [↑](#footnote-ref-48)
49. *Коммандитное товарищество* — особый вид промышленного или торгового предприятия, в котором одни пайщики принимают участие в делах предприятия и отвечают всем своим имуществом за его долги, другие же отвечают только своими взносами, пользуются прибылью на вложенный капитал без права участия в делах. [↑](#footnote-ref-49)
50. Здесь: «заветная мечта» (*лат.*). [↑](#footnote-ref-50)
51. «Золотая середина» (*лат.*). [↑](#footnote-ref-51)
52. «Да будет мне жизнь покоем» (*лат.*). [↑](#footnote-ref-52)
53. *...в атаку на монастырь Сен‑Мерри...* — 5—6 июля 1832 года в Париже вспыхнуло республиканское восстание. Центром героического вооруженного сопротивления республиканцев стали баррикады, примыкавшие к монастырю Сен‑Мерри. [↑](#footnote-ref-53)
54. *Король‑гражданин* — прозвище короля Луи‑Филиппа Орлеанского, данное ему буржуазией. [↑](#footnote-ref-54)
55. *Венсан де Поль* (1576—1660) — французский священник, канонизированный католической церковью, занимался благотворительностью, стремился возродить авторитет католицизма. [↑](#footnote-ref-55)
56. *Лафон* , Пьер‑Шери (1797—1873) — французский комический актер, выступавший на сцене театра «Водевиль»; имел большой успех в комедии Детуша «Гордец». [↑](#footnote-ref-56)
57. *Барро* , Одилон (1791—1873) — французский крупный адвокат, политический деятель, один из активных участников Февральской буржуазной революции 1848 года, сбросившей с престола короля Луи‑Филиппа. [↑](#footnote-ref-57)
58. *...великие люди античности, такие, как Брут и прочие, забывали о том, что они отцы, когда им следовало выказать себя гражданами.* — Луций‑Юний Брут (VI век до н. э.) — один из основателей Римской республики. Узнав, что его сыновья пытаются восстановить власть низложенного царя, Брут, будучи консулом, приговорил их к смерти. [↑](#footnote-ref-58)
59. «И достойная!» (*лат.*) [↑](#footnote-ref-59)
60. *«Карикатура»* — еженедельная сатирическая иллюстрированная газета, основанная в ноябре 1830 года республиканцем Шарлем Филипоном, нередко помещала карикатуры на Луи‑Филиппа; существовала до 1836 года. С 1831 года в «Карикатуре» сотрудничал Бальзак. [↑](#footnote-ref-60)
61. *Фея Карабос* — во французских народных сказках, а также в сказке Перро «Спящая красавица» злая фея. [↑](#footnote-ref-61)
62. *Вино кометы* — то есть вино урожая 1811 года, когда появление крупной кометы совпало с обильным урожаем винограда. [↑](#footnote-ref-62)
63. *Беррье* , Никола (1755—1841) — французский адвокат, пользовавшийся в 30‑х годах XIX века большой известностью. [↑](#footnote-ref-63)
64. *Жозефина* Богарне (1763—1814) — первая жена Наполеона I, способствовала началу его военной карьеры. [↑](#footnote-ref-64)
65. *Матье* , Клод‑Луи (1783—1875) — французский астроном, был известен добротой своего характера. [↑](#footnote-ref-65)
66. *Иоанн Златоуст* — константинопольский патриарх, канонизированный церковью, прославился своим красноречием. [↑](#footnote-ref-66)
67. *Кабилы* — одна из народностей, населяющих Алжир. [↑](#footnote-ref-67)
68. *«Хижина»* — увеселительное заведение в Париже, где устраивались публичные балы. [↑](#footnote-ref-68)
69. *Ламарк* , Максимильен (1770—1832) — французский генерал времен Наполеоновской империи. В 1807 году смелым броском овладел островом Капри, сломив сопротивление английского полководца Гудзона Лоу. [↑](#footnote-ref-69)
70. *Пресловутое банкротство нотариуса Рогена.* — См. роман Бальзака «История величия и падения Цезаря Бирото». [↑](#footnote-ref-70)
71. *«Министерство первого марта»* — 1 марта 1840 года кабинет министров во Франции возглавил Тьер, который пошел на обострение отношений с Англией из‑за Египта, однако внешнеполитическая ситуация сложилась для Франции неблагоприятно, и Тьер вынужден был пойти в отставку. [↑](#footnote-ref-71)
72. *...перспективой войны, развязать которую требовал господин Тьер.* — 1 марта 1840 года кабинет министров во Франции возглавил Тьер, который пошел на обострение отношений с Англией из‑за Египта, однако внешнеполитическая ситуация сложилась для Франции неблагоприятно, и Тьер вынужден был пойти в отставку. [↑](#footnote-ref-72)
73. *«Единственный наследник»* — комедия французского драматурга Реньяра (начало XVII века). [↑](#footnote-ref-73)
74. *«Подражание Христу»* — анонимная книга христианской мистики, содержащая религиозные наставления. [↑](#footnote-ref-74)
75. *«Конститюсьонель»* — умеренно‑либеральная, антиклерикальная газета. [↑](#footnote-ref-75)
76. «Одна вера, один господь» (*лат.*). [↑](#footnote-ref-76)
77. *Рокселана* — жена турецкого султана Сулеймана II, отличалась необычайно длинным носом. [↑](#footnote-ref-77)
78. *Шарле* , Никола‑Туссен (1792—1845) — французский художник, известный своими рисунками и литографиями. [↑](#footnote-ref-78)
79. *Корантен* — персонаж романов Бальзака «Шуаны», «Блеск и нищета куртизанок», «Темное дело». [↑](#footnote-ref-79)